

НЬЮ-Йорк Таймс БЕСТСЕЛЛЕР

ВЕСЬ НЕВИДИМЫЙ НАМ СВЕТ

*История нашего века, переплетенная с волшебным
вымыслом в трогательное, неразрывное целое.*

Ресурсы



Энтони Дорр

Энтони Дорр

Весь невидимый нам свет

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8970495

*Весь невидимый нам свет: роман / Энтони Дорр: Азбука, Азбука-Амтикус; Санкт-Петербург;
2015*

ISBN 978-5-389-08642-5

Аннотация

Впервые на русском – новейший роман от лауреата многих престижных литературных премий Энтони Дорра. Эта книга, вынашивавшаяся более десяти лет, немедленно попала в списки бестселлеров – и вот уже который месяц их не покидает. «Весь невидимый нам свет» рассказывает одвигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму.

Содержание

0. 7 августа 1944 г.	6
Листовки	6
Бомбардировщики	7
Девушка	8
Юноша	9
Сен-Мало	11
Дом № 4 по улице Воборель	12
Подвал	13
Бомбежка	14
1. 1934 г.	15
Национальный музей естествознания	15
Цольферайн	18
Ключная	20
Радиоприемник	23
Отведи нас домой	25
Жизнь меняется	27
Свет	28
Наше знамя реет впереди!	29
Вокруг света за восемьдесят дней	30
Профессор	32
Море огня	34
Откройте глаза	36
Затишье	37
Принципы механики	38
Слухи	40
Больше, быстрее, лучше	42
Начертание зверя	44
Добрый вечер. Или хайль Гитлер, если предпочитаете	46
Пока, слепая девчонка	47
Вязание носков	49
Бегство	50
Герр Зидлер	53
Исход	58
2. 8 августа 1944 г.	61
Сен-Мало	61
Дом № 4 по улице Воборель	62
«Пчелиный дом»	63
Шесть лестничных пролетов вниз	64
В западне	65
3. Июнь 1940 г.	66
Шато	66
Вступительные экзамены	69
Бретань	72
Мадам Манек	74
Ты призван	76
Оссирег	78

Конец ознакомительного фрагмента.

80

Энтони Дорр

Весь невидимый нам свет

Anthony Doerr

ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE Copyright

© 2014 by Anthony Doerr All rights reserved

© Е. Доброхотова-Майкова, перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Венди Вейль 1940-2012

В августе 1944 года древняя крепость Сен-Мало, ярчайшая драгоценность Изумрудного берега Бретани, была почти полностью уничтожена огнем... Из 865 зданий остались лишь 182, да и те были в той или иной степени повреждены.

Филип Бек

0. 7 августа 1944 г.

Листовки

Под вечер они сыплются с неба, как снег. Летят над крепостными стенами, кувыркаются над крышами, кружат в узких улочках. Ветер метет их по мостовой, белые на фоне серых камней. «Срочное обращение к жителям! – говорится в них. – Немедленно выходите на открытую местность!»

Идет прилив. В небе висит ущербная луна, маленькая и желтая. На крышах приморских гостиниц к востоку от города американские артиллеристы вставляют в дула минометов зажигательные снаряды.

Бомбардировщики

Они летят через Ла-Манш в полночь. Их двенадцать, и они названы в честь песен: «Звездная пыль», «Дождливая погода», «В настроении» и «Крошка с пистолетом»¹. Внизу поблескивает море, испещренное бесчисленными шевронами барашков. Скоро штурманы уже видят на горизонте низкие, озаренные луной очертания островов.

Франция.

Хрипит внутренняя связь. Осторожно, почти лениво, бомбардировщики сбрасывают высоту. От пунктов ПВО на побережье тянутся вверх ниточки алого света. Внизу видны остовы кораблей; у одного взрывом полностью снесло нос, другой еще догорает, слабо мерцающая в темноте. На том острове, что дальше всех от берега, между камнями мечутся перепуганные овцы.

В каждом самолете бомбардир смотрит в люк прицела и считает до двадцати. Четыре, пять, шесть, семь. Крепость на гранитном мысу все ближе. В глазах бомбардиров она похожа на больной зуб – черный и опасный. Последний нарыв, который предстоит вскрыть.

¹ *Stardust* – песня, написанная Хоуги Кармайклом в 1927 г., исполнялась почти всеми великими джазовыми исполнителями. *Stormy Weather* – песня Гарольда Арлена и Теда Келера, написанная в 1933 г. *In the Mood* – песня Джо Гарленда, ставшая хитом Гленна Миллера. *Pistol-Packin' Mama* – песня, написанная Алом Декстером в 1943 г.; в 1944-м ее записали Бинг Кросби и сестры Эндрюс. (Здесь и далее прим. перев.)

Девушка

В узком и высоком доме номер четыре по улице Воборель на последнем, шестом этаже шестнадцатилетняя незрячая Мари-Лора Леблан стоит на коленях перед низким столом. Вся поверхность стола занимает макет – миниатюрное подобие города, в котором она стоит на коленях, сотни домов, магазинов, гостиниц. Вот собор с ажурным шпилем, вот шато Сен-Мало, ряды приморских пансионатов, утыканных печными трубами. От Пляж-дю-Моль тянутся тоненькие деревянные пролеты пирса, рыбный рынок накрыт решетчатым сводом, крохотные скверики уставлены скамейками; самые маленькие из них не больше яблочного семечка.

Мари-Лора проводит кончиками пальцев по сантиметровому парапету укреплений, очерчивая неправильную звезду крепостных стен – периметр макета. Находит проемы, из которых на море смотрят четыре церемониальные пушки. «Голландский бастион, – шепчет она, спускаясь пальцами по крошечной лесенке. – Рю-де-Кордьер. Рю-Жак-Картье».

В углу комнаты стоят два оцинкованных ведра, по края наполненные водой. Наливай их при любой возможности, учил ее дедушка. И ванну на третьем этаже тоже. Никогда не знаешь, надолго ли дали воду.

Она возвращается к шпилю собора, оттуда на юг, к Динанским воротам. Весь вечер Мари-Лора ходит пальцами по макету. Она ждет двоюродного дедушку Этьена, хозяина дома. Этьен ушел вчера ночью, пока она спала, и не вернулся. А теперь снова ночь, часовая стрелка описала еще круг, весь квартал тих, и Мари-Лора не может уснуть.

Она слышит бомбардировщики за три мили. Нарастающий звук, как помехи в радиоприемнике. Или гул в морской раковине.

Мари-Лора открывает окно спальни, и рев моторов становится громче. В остальном ночь пугающе тиха: ни машин, ни голосов, ни шагов по мостовой. Ни воя воздушной тревоги. Даже чаек не слышно. Только за квартал отсюда, шестью этажами ниже, бьет о городскую стену прилив.

И еще один звук, совсем близко.

Какое-то шуршанье. Мари-Лора шире открывает левую створку окна и проводит рукой по правой. К переплету прилип бумажный листок.

Мари-Лора подносит его к носу. Пахнет свежей типографской краской и, может быть, керосином. Бумага жесткая – она недолго пробыла в сыром воздухе.

Девушка стоит у окна без туфель, в одних чулках. Позади нее спальня: на комод разложены раковины, вдоль плинтуса – окатанные морские камешки. Трость в углу; большая брайлевская книга, раскрытая и перевернутая корешком вверх, ждет на кровати. Гул самолетов нарастает.

Юноша

В пяти кварталах к северу белобрысый восемнадцатилетний солдат немецкой армии Вернер Пфенниг просыпается от тихого дробного гула. Даже скорее жужжания – как будто где-то далеко бьются о стекло мухи.

Где он? Приторный, чуть химический запах оружейной смазки, аромат свежей стружки от новеньких снарядных ящиков, нафталиновый душок старого покрывала – он в гостинице. *L'hôtel des Abeilles* – «Пчелиный дом».

Еще ночь. До утра далеко.

В стороне моря свистит и грохает – работает зенитная артиллерия.

Капрал ПВО бежит по коридору к лестнице. «В подвал!» – кричит он. Вернер включает фонарь, убирает одеяло в вещмешок и выскакивает в коридор.

Не так давно «Пчелиный дом» был приветливым и уютным: яркие синие ставни на фасаде, устрицы на льду в ресторане, за барной стойкой официанты-бретонцы в галстуках-бабочках протирают бокалы. Двадцать один номер (все с видом на море), в вестибюле – камин размером с грузовик. Здесь пили аперитивы приехавшие на выходные парижане, а до них – редкие эмиссары республики, министры, заместители министров, аббаты и адмиралы, а еще столетиями раньше – обветренные корсары: убийцы, грабители, морские разбойники.

А еще раньше, до того как здесь открыли гостиницу, пять веков назад, в доме жил богатый капер, который бросил морской разбой и занялся изучением пчел в окрестностях Сен-Мало; он записывал наблюдения в книжечку и ел мед прямо из сот. Над парадной дверью до сих пор сохранился дубовый барельеф со шмелями; замшелый фонтан во дворе сделан в форме улья. Вернеру больше всего нравятся пять потускнелых фресок на потолке самого большого номера верхнего этажа. На голубом фоне раскинули прозрачные крылышки пчелы размером с ребенка – ленивые трутни и пчелы-работницы, – а над шестиугольной ванной свернулась трехметровая царица с фасетчатыми глазами и золотистым пушком на брюшке.

За последние четыре недели гостиница преобразилась в крепость. Отряд австрийских зенитчиков заколотил все окна, перевернул все кровати. Вход укрепили, лестницы заставили снарядными ящиками. На четвертом этаже, где из зимнего сада с французскими балконами открывается вид на крепостную стену, поселилась дряхлая зенитная пушка по имени «Восемь-восемь»², стреляющая девятикилограммовыми снарядами на пятнадцать километров.

«Ее величество», называют австрийцы свою пушку. Последнюю неделю они ухаживали за нею, как пчелы – за царицей: заправили ее маслом, смазали механизм, покрасили ствол, разложили перед ней мешки с песком, словно приношения.

Царственная «ахт-ахт», смертоносная монархиня, должна защитить их всех.

Вернер на лестнице, между цоколем и первым этажом, когда «Восемь-восемь» делает два выстрела подряд. Он еще не слышал ее с такого близкого расстояния; звук такой, будто пол-отеля снесло взрывом. Вернер оступается, зажимает уши. Стены дрожат. Вибрация прокатывается сперва сверху вниз, затем – снизу вверх.

Слышно, как двумя этажами выше австрийцы перезаряжают пушку. Свист обоих снарядов постепенно затихает – они уже километрах в трех над океаном. Один солдат поет. Или не один. Может, они все поют. Восемь бойцов люфтваффе, из которых через час никого не останется в живых, поют любовную песню своей царице.

² 8,8-cm-FlaK, известное также как «Восемь-восемь» (нем. «ахт-ахт»/Acht-acht) – германское 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении в 1928–1945 гг.

Вернер бежит через вестибюль, светя под ноги фонарем. Зенитка грохает в третий раз, где-то близко со звоном разбивается окно, сажа сыплется в каминной трубе, стены гудят, как колокол. У Вернера такое чувство, что от этого звука у него вылетят зубы.

Он открывает дверь в подвал и замирает на миг. Перед глазами плывет.

– Это оно? – спрашивает он. – Они правда наступают?

Однако ответить некому.

Сен-Мало

В домах вдоль улиц просыпаются последние неэвакуированные жители, постанывают, вздыхают. Старые девы, проститутки, мужчины старше шестидесяти лет. Копуши, коллаборационисты, скептики, пьяницы. Монахини самых разных орденов. Бедняки. Упрямы. Слепые.

Некоторые спешат в бомбоубежища. Другие говорят себе, что это учебная тревога. Кто-то мешкает, чтобы забрать одеяло, молитвенник или колоду карт.

День «Д» был два месяца назад. Шербур освобожден. Кан освобожден, Ренн тоже. Половина Западной Франции освобождена. На востоке советские войска отбили Минск, в Варшаве подняла восстание польская Армия Крайова. Некоторые газеты, осмелев, предполагают, что в ходе войны наступил перелом.

Однако никто не говорит такого здесь, в последней цитадели Германии на бретонском побережье.

Здесь, шепчутся местные, немцы расчистили двухкилометровые катакомбы под средневековыми стенами, проложили новые тоннели, выстроили подземный оборонительный комплекс невиданной мощи. Под полуостровным фортом Сите через реку от Старого города одни помещения целиком заполнены снарядами, другие бинтами. Говорят, там есть даже подземный госпиталь, где предусмотрено все: вентиляция, двухсоттысячелитровая цистерна воды и прямая телефонная связь с Берлином. На подступах установлены мины-ловушки и доты с перископами; боеприпасов хватит, чтобы обстреливать море день за днем в течение года.

Говорят, там тысяча немцев, готовых умереть, но не сдаться. Или пять тысяч. А может, и больше.

Сен-Мало. Вода окружает город с четырех сторон. Связь с Францией – дамба, мост, песчаная коса. Мы малуэны в первую очередь, говорят местные. Во вторую – бретонцы. И уже в последнюю – французы.

В грозные ночи гранит светится голубым. В самый высокий прилив море затапливает подвалы домов в центре города. В самый низкий отлив из моря выступают обросшие ракушками остовы тысяч погибших кораблей.

За три тысячелетия полуостров видел много осад.

Но такой – ни разу.

Бабушка берет на руки расшумевшегося годовалого внука. В километре от нее, в проулке неподалеку от церкви Сен-Серван, пьяный мочится на ограду и замечает листовку. В листовке написано: «Срочное обращение к жителям! Немедленно выходите на открытую местность!»

С внешних островов бьет зенитная артиллерия, большие немецкие орудия в Старом городе дают очередной залп, а триста восемьдесят французов, запертые в островной крепости Форт-Насиональ, смотрят в небо из залитого лунным светом двора.

После четырех лет оккупации, что несет им рев бомбардировщиков? Освобождение? Гибель?

Треск пулеметных очередей. Барабанные раскаты зениток. Десятки голубей срываются со шпиля собора и кружат над морем.

Дом № 4 по улице Воборель

Мари-Лора Леблан в спальне нюхает листовку, которую не может прочесть. Воют сирены. Она закрывает ставни и задвигает шпингалет на окне. Самолеты все ближе. Каждая секунда – упущенная секунда. Надо бежать вниз, на кухню, откуда через люк можно залезть в пыльный погреб, где хранятся изъеденные мышами ковры и старые сундуки, которые никто давно не открывал.

Вместо этого она возвращается к столику и встает на колени перед макетом города.

Вновь находит пальцами крепостную стену, Голландский бастион и ведущую вниз лесенку. Вот из этого окна в настоящем городе женщина каждое воскресенье встряхивает половики. Из этого окна мальчишка как-то крикнул Мари-Лоре: «Смотри, куда прешь! Ты что, слепая?»

В домах дребезжат стекла. Зенитки дают новый залп. Земля еще чуть-чуть успевает повернуться вокруг своей оси.

Под пальцами Мари-Лоры миниатюрная улица д'Эстре пересекает миниатюрную улицу Воборель. Пальцы сворачивают вправо, скользят вдоль дверных проемов. Первый, второй, третий. Четвертый. Сколько раз она так делала?

Дом номер четыре: древнее семейное гнездо, принадлежащее ее двоюродному деду Этьену. Дом, где Мари-Лора живет последние четыре года. Она на шестом этаже, одна во всем здании, и к ней с ревом несутся двенадцать американских бомбардировщиков.

Мари-Лора вдавликает крохотную парадную дверь, освобождая внутреннюю защелку, и дом отделяется от макета. У нее в руке он размером примерно с отцовскую сигаретную пачку.

Бомбардировщики уже так близко, что пол под коленями вибрирует. За дверью тренькают хрустальные подвески люстры над лестницей. Мари-Лора поворачивает трубу домика на девяносто градусов. Потом сдвигает три досочки, составляющие крышу, и поворачивает снова.

На ладонь выпадает камень.

Он холодный. Размером с голубиное яйцо. А по форме – как капля.

Мари-Лора зажимает домик в одной руке, а камень – в другой. Комната кажется зыбкой, ненадежной, будто исполинские пальцы протыкают стены.

– Папа? – шепчет она.

Подвал

Под вестибюлем «Пчелиного дома» в скале был вырублен корсарский подвал. За ящиками, шкафами и досками, на которых висят инструменты, стены – голый гранит. Потолок удерживают три мощных бруса: столетия назад лошадиные упряжки волоком притащили их из древнего бретонского леса.

Под потолком горит единственная голая лампочка, по стенам дрожат тени.

Вернер Пфенниг сидит на складном стуле перед верстаком, проверяет, насколько заряжены батареи, затем надевает наушники. Станция приемопередающая, в стальном корпусе, со шестидесятисантиметровой диапазонной антенной. Она позволяет связываться с такой же станцией в гостинице наверху, с двумя другими зенитными установками в Старом городе и с подземным командным пунктом по другую сторону реки.

Станция гудит, разогреваясь. Корректировщик огня читает координаты, зенитчик их повторяет. Вернер трет глаза. В подвале у него за спиной громоздятся реквизированные ценности: скрученные в рулоны ковры, большие напольные часы, шифоньеры и огромных размеров масляный пейзаж, весь в мелких трещинках. На полке напротив Вернера – восемь или девять гипсовых голов. Их назначение для него загадка.

По узкой деревянной лестнице, пригибаясь под брусками, спускается рослый здоровяк обер-фельдфебель Франк Фолькхаймер. Он ласково улыбается Вернеру, садится в обитое золотистым шелком кресло с высокой спинкой и кладет винтовку на колени. Ноги у него такие мощные, что винтовка кажется непропорционально маленькой.

– Началось? – спрашивает Вернер.

Фолькхаймер кивает. Затем выключает свой фонарь и в полутьме хлопает на удивление красивыми длинными ресницами.

– Сколько это продлится?

– Недолго. Мы тут в полной безопасности.

Инженер Бернд приходит последним. Он маленький, косоглазый, с жидкими бесцветными волосами. Бернд закрывает за собой дверь, задвигает засовы и садится на лестницу. Лицо мрачное. Трудно сказать, что это – страх или решимость.

Теперь, когда дверь закрыта, вой воздушной тревоги звучит куда тише. Лампочка над головой мигает.

Вода, думает Вернер, я забыл воду.

С дальнего края города доносится зенитная пальба, потом наверху вновь оглушительно стреляет «Восемь-восемь», и Вернер слушает, как снаряды свистят в небе. С потолка сыплется пыль. В наушниках пение австрийцев:

*...auf d'Wulda, auf d'Wulda, da scheint d'Sunn a so gulda...*³

Фолькхаймер сонно скребет пятно на брюках. Бернд греет дыханием замерзшие руки. Станция, хрипя, сообщает скорость ветра, атмосферное давление, траектории. Вернер вспоминает дом. Вот фрау Елена, наклонившись, завязывает ему шнурки на двойной бантик. Звезды за окном спальни. Младшая сестра Ютта сидит, завернувшись в одеяло, к левому уху прижат радионаушник.

Четырмя этажами выше австрийцы заталкивают в дымящийся ствол «Восемь-восемь» еще снаряд, проверяют угол горизонтального наведения и зажимают уши, однако Вернер внизу слышит лишь радиоголоса своего детства. «Богиня истории взглянула с небес на землю. Лишь в самом жарком пламени может быть достигнуто очищение». Он видит лес высохших подсолнухов. Видит, как с дерева разом взлетает стая дроздов.

³ «На Влтаве, на Влтаве, где солнце золотое светит» (нем.). Австрийская народная песня.

Бомбежка

Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Под люком прицела несется море, затем крыши. Два самолета поменьше отмечают коридор дымом, первый бомбардировщик сбрасывает бомбы, а за ним и остальные одиннадцать. Бомбы падают наискось. Самолеты стремительно уходят вверх.

Ночное небо испещряют черные черточки. Двоюродный дедушка Мари-Лоры, запертый вместе с сотнями других мужчин в Форт-Насионале, в нескольких сотнях метров от берега, смотрит вверх и думает: «Саранча». Из затянутых паутиной дней в воскресной школе звучат ветхозаветные слова: «У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно».

Орды демонов. Горох из мешка. Сотни разорванных четок. Метафор тысячи, и ни одна не может этого передать: сорок бомб на самолет, всего четыреста восемьдесят штук, тридцать две тонны взрывчатых веществ.

На город накатывает лавина. Ураган. Чашки спрыгивают с буфетных полок, картины срываются с гвоздей. Через долю секунды сирены уже не слышны. Ничего не слышно. Грохот такой, что могут лопнуть барабанные перепонки.

Зенитки выпускают последние снаряды. Двенадцать бомбардировщиков, невредимые, уносятся в синюю ночь.

В доме номер четыре по улице Воборель Мари-Лора, забившись под кровать, прижимает к груди камень и макет дома.

В подвале «Пчелиного дома» гаснет единственная лампочка.

1. 1934 г.

Национальный музей естествознания

Мари-Лоре Леблан шесть лет. Она высокая, веснушчатая, живет в Париже, и у нее быстро садится зрение. Отец Мари-Лоры работает в музее; сегодня там экскурсия для детей. Экскурсовод – старый горбун сам немногим выше ребенка – стучит по полу тростью, требуя внимания, затем ведет маленьких посетителей через сад в галерею.

Дети смотрят, как рабочие блоками поднимают окаменелую бедренную кость динозавра. Видят в запаснике чучело жирафа с проплешинами на спине. Заглядывают в ящики таксидермистов, где лежат перья, когти и стеклянные глаза. Перебирают листы двухсотлетнего гербария с орхидеями, ромашками и лекарственными травами.

Наконец они поднимаются на шестнадцать ступеней в Минералогическую галерею. Экскурсовод показывает им бразильский агат, аметист и метеорит на подставке. Метеориту, объясняет он, столько же лет, сколько Солнечной системе. Затем они гуськом спускаются по двум винтовым лестницам и проходят несколько коридоров. Перед железной дверью с единственной замочной скважиной горбун останавливается.

– Экскурсия закончена, – говорит он.

– А что там? – спрашивает одна из девочек.

– За этой дверью другая запертая дверь, чуть меньше.

– А за ней?

– Третья запертая дверь, еще меньше.

– А за ней?

– Четвертая дверь, и пятая, и так далее, до тринадцатой запертой двери не больше башмака.

Дети подаются вперед.

– А дальше?

– А за тринадцатой дверью... – экскурсовод изящно взмахивает сморщенной рукой, – Море огня.

Дети заинтригованно топчутся на месте.

– Неужто вы не слыхали про Море огня?

Дети мотают головой. Мари-Лора щурится на голые лампочки, висящие на потолке через каждые два с половиной метра. Для нее каждая лампочка окружена радужным ореолом.

Экскурсовод вешает трость на запястье и потирает руки:

– История долгая. Хотите выслушать долгую историю?

Они кивают.

Он откашливается:

– Столетия назад, на острове, который мы сейчас называем Борнео, царевич, сын тамошнего султана, подобрал в русле пересохшей реки красивый голубой камешек. На обратном пути царевича настигли вооруженные всадники, и один из них пронзил ему кинжалом сердце.

– Пронзил сердце?

– Это правда?

– Тсс, – цыкает мальчик.

– Разбойники забрали его кольца, коня и все остальное, однако не заметили голубого камешка, зажатого в кулаке. Умиравший царевич сумел доползти до дому. Там он проле-

жал без сознания девять дней, а на десятый, к изумлению сиделок, сел и разжал кулак. На ладони лежал голубой камень... Лекари султана говорили, что это чудо, что после такой раны выжить нельзя. Сиделки сказали, что, возможно, камень обладает целительной силой. А ювелиры султана сообщили кое-что еще: этот камень – алмаз невиданных прежде размеров. Лучший камнерез страны гранил его восемьдесят дней, а когда закончил, все увидели синий бриллиант – синий, как тропическое море, но с красной искоркой в середине, словно в капле воды пылает огонь. Султан повелел вставить алмаз в корону царевича. Говорят, когда тот сидел на троне, озаренный солнцем, на него невозможно было смотреть, – казалось, будто сам юноша обратился в свет.

– А это точно правда? – спрашивает девочка.

Мальчик снова на нее цыкает.

– Алмаз называли Морем огня. Иные верили, что царевич – божество и, пока он владеет камнем, его нельзя убить. Однако начало происходить нечто странное: чем дольше царевич носил корону, тем больше несчастий на него валилось. В первый же месяц один его брат утонул, а другой умер от укуса ядовитой змеи. Не прошло и полугода, как его отец заболел и скончался. А в довершение беды лазутчики донесли, что с востока к границам страны движется огромное вражеское войско... Царевич призвал к себе отцовских советников. Все сказали, что надо готовиться к войне, а один жрец сообщил, что видел сон. Во сне богиня земли сказала ему, что создала Море огня в дар своему возлюбленному, богу моря, и отправила ему по реке. Однако река пересохла, царевич забрал камень себе, и богиня разгневалась. Она прокляла камень и того, кто им владеет.

Все дети подаются вперед, и Мари-Лора тоже.

– Проклятие состояло в том, что владелец камня будет жить вечно, но, покуда алмаз у него, на всех, кого он любит, будут сыпаться несчастья.

– Жить вечно?

– Однако, если владелец бросит алмаз в море, куда он изначально предназначался, богиня снимет проклятие. Царевич – теперь уже султан – думал три дня и три ночи и наконец решил оставить камень себе. Однажды алмаз спас ему жизнь. Молодой султан верил, что камень делает его неуязвимым. Он повелел отрезать жрецу язык.

– Ой, – говорит самый маленький мальчик.

– Большая ошибка, – замечает самая высокая девочка.

– Враги захватили страну, – продолжает экскурсовод, – разрушили дворец, убили всех, кого нашли. Молодого султана с тех пор никто не видел, и двести лет о Море огня не было ни слуху ни духу. Некоторые говорили, что его разрезали на множество бриллиантов поменьше, другие – что он по-прежнему у царевича, который живет то ли в Японии, то ли в Персии под видом смиренного землепашца, но не старится... Шло время. И вот однажды французскому торговцу, приехавшему в Индию на алмазные копи Голконды, показали огромный бриллиант грушевидной огранки. В сто тридцать три карата. Почти безупречной чистоты. «С голубинное яйцо, – писал торговец, – синий, как море, но с огненно-алым нутром». Он сделал с камня слепок и отправил в Лотарингию герцогу, помешанному на драгоценных камнях, предупредив, что по легенде алмаз проклятый. Однако герцог все равно непременно хотел его заполучить. Торговец привез камень в Европу, герцог вставил свое приобретение в набалдашник трости и стал ходить с ним повсюду.

– Ой-ой.

– В тот же месяц герцогиня умерла от болезни горла. Двое любимых слуг герцога упали с крыши и расшиблись насмерть, его единственный сын погиб на охоте. Сам герцог теперь боялся выходить из дому и принимать гостей, хотя, по общим уверениям, выглядел здоровее обычного. Наконец он убедил себя, что все дело в проклятии, и попросил короля запереть

злосчастный камень в музей с условием, что алмаз поместят в специально изготовленный сейф и двести лет не будут его открывать.

– И что дальше?

– И с тех пор прошло сто девяносто шесть лет.

Мгновение все дети молчат. Некоторые считают на пальцах. Потом все разом тянут руки, как на уроке.

– Можно его увидеть?

– Нет.

– А хотя бы открыть первую дверь?

– Нет.

– А вы его видели?

– Нет.

– Откуда тогда известно, что он точно там?

– Надо верить преданию.

– А сколько он стоит, мсье? На него можно купить Эйфелеву башню?

– Такой крупный и редкий бриллиант стоит примерно как пять Эйфелевых башен.

Дети ахают.

– А все эти двери, чтобы воры до него не добрались?

– Скорее, – говорит старик и подмигивает, – двери нужны, чтобы проклятие не выбралось наружу.

Дети замолкают. Двое или трое делают шаг назад.

Мари-Лора снимает очки, и мир расплывается.

– А почему бы не взять алмаз и не выбросить его в море? – спрашивает она.

Экскурсовод смотрит на нее и остальные дети тоже.

– Часто ли на твоих глазах выкидывают в море пять Эйфелевых башен? – спрашивает мальчик постарше.

Смех. Мари-Лора хмурится. Ничего особенного тут нет: просто железная дверь с бронзовой замочной скважиной.

Экскурсия заканчивается. Дети расходятся. В Большой галерее Мари-Лору встречает папа. Он поправляет очки у нее на носу, снимает с волос листок дерева.

– Тебе понравилось, *ma chérie*?⁴

Серый воробышек спархивает с балки и садится на плиты перед Мари-Лорой. Она протягивает раскрытую ладонь. Воробышек задумчиво вертит головой, затем улетает.

Месяц спустя она уже совсем ничего не видит.

⁴ Милая (*фр.*).

Цольферайн

Вернер Пфенниг растет в пятиста километрах к северо-востоку от Парижа, в Цольферайне. Это угледобывающий комплекс площадью полторы тысячи гектаров неподалеку от Эссена в Германии – земля стали и антрацита, сплошь изрытая шахтами. Дымят трубы, поезда с вагонетками снуют по эстакадам, голые деревья торчат из терриконов, словно скелеты тянут из-под земли костлявые руки.

Вернер и его младшая сестра Ютта воспитываются в сиротском доме, двухэтажном кирпичном приюте на Викторияштрассе. Здесь повсюду детский кашель, ор младенцев и старые чемоданы, в которых хранятся последние родительские пожитки: латаная одежда, почерневшие столовые приборы, выцветшие амбротипы⁵ отцов, чью жизнь забрала шахта.

Ранние годы Вернера пришлись на самое голодное время. Перед воротами Цольферайна мужчины дерутся из-за работы, куриные яйца продают по два миллиона рейхсмарок за штуку, ревмокардит караулит детей, как голодный волк. Нет ни мяса, ни масла. Фруктов никто и не помнит. В худшие месяцы директрисе порой нечего дать подопечным на ужин, кроме лепешек на воде и горчичном порошке.

Однако семилетний Вернер счастлив. Он очень малорослый, у него торчащие уши, звонкий голос, а волосы такие белые, что встречные останавливаются в изумлении. Белые как снег, как молоко, как мел. Цвет, в котором нет цвета. Каждое утро Вернер зашнуровывает ботинки, закидывает в куртку газеты для тепла и отправляется исследовать мир. Он ловит снежинки, головастики, лягушек. Выпрашивает у булочников хлеб, часто приходит домой с молоком для самых маленьких. И еще он все время мастерит: коробки из бумаги, бипланы, игрушечные кораблики с настоящим рулем.

Каждые два дня он ошарашивает директрису вопросом, на который невозможно ответить: «Отчего бывает икота, фрау Елена?»

Или: «Если Луна такая большая, фрау Елена, отчего она кажется такой маленькой?»

Или: «Фрау Елена, а пчела понимает, что умрет, если ужалит?»

Фрау Елена – протестантская монахиня из Эльзаса и детей любит больше, чем порядок. Она скрипучим фальцетом поет французские народные песни, имеет слабость к хересу и часто засыпает стоя. Иногда она позволяет детям засиживаться допоздна и по-французски рассказывает им про свое детство в горах, про занесенные снегом дома, заиндевелые виноградники и пар от ручьев – про страну с рождественской открытки.

«А глухие слышат, как у них бьется сердце, фрау Елена?»

«А почему клей не приклеивается к флакону изнутри?»

Она засмеется. Взьерошит Вернеру волосы. Шепнет: «Тебе скажут, что ты маленький, Вернер. Что ты никто и ниоткуда. Будут говорить, чтобы ты ни о чем не мечтал. Но я в тебя верю. Я думаю, ты совершишь что-нибудь великое». И отправит его в постель, в тесный уголок, который Вернер сам для себя выбрал, – на чердаке, под мансардным окном.

Иногда они с Юттой рисуют. Сестра забирается к Вернеру на кровать, они лежат рядышком на животе и передают друг другу единственный карандаш. Ютта младше на два года, но из них двоих именно у нее – настоящий талант. Больше всего она любит рисовать Париж, который видела всего на одной фотографии, на задней обложке любовного романа (их читает фрау Елена). Там были островерхие многоэтажные дома в туманной дымке и ажурная башня на фоне неба. Ютта рисует белые высотки, причудливые мосты, стайки людей у реки.

⁵ Амбротип – один из ранних видов фотографии на стеклянной пластинке.

Иногда после уроков Вернер катает сестренку по поселку в тележке, которую собрал из найденных на помойке деталей. Они громыхают по длинным щебнистым улицам, мимо одноэтажных домиков, мимо горящих мусорных баков, мимо безработных шахтеров, которые целыми днями сидят на перевернутых ящиках, неподвижные, как статуи. Одно колесо постоянно слетает; Вернер терпеливо встает на колени и привинчивает его обратно. Вторая смена бредет на работу, первая возвращается домой – ссутуленные голодные люди с синими носами, лица под касками – словно черные черепа. «Здравствуйте! – кричит Вернер. – Добрый день!» Но шахтеры обычно просто проходят мимо, возможно даже не видя его. Их взгляды устремлены в землю, экономический кризис маячит у них за спиной, словно суровая геометрия заводов.

Вернер с Юттой роются в кучках блестящей черной пыли, взбираются на горы ржавеющих механизмов. Рвут ежевику с куста и одуванчики в поле. Иногда они находят в мусорных ящиках картофельные очистки или зеленую морковь, в другой раз им попадается оберточная бумага, годная для рисования, или тюбик с остатками зубной пасты, которую можно выдавить, высушить и превратить в мелки. Изредка Вернер довозит Ютту до самого входа в Девятую шахту, самую большую из всех. Она светится, как зажигательная горелка в газовой колонке, грохочет без остановки, над ней пятиэтажный копер, тросы раскачиваются, дробилка гремит, люди кричат, во все стороны раскинулся искусственный ландшафт из рифленого железа, вагонетки выезжают из-под земли, шахтеры с тормозками в руках тянутся ко входу в комбинат, словно насекомые в освещенную ловушку.

– Вон там, внизу, – шепчет Вернер сестре, – погиб наш отец.

Уже в сумерках он молча везет сестренку по узким улочкам Цольферайна: двое белобрысых детей в низинном краю угольной пыли и копоты спешат доставить свои жалкие сокровища в дом номер три по Викториаштрассе, где фрау Елена перед горячей печкой устало поет французскую колыбельную плачущему младенцу на руках, а рядом другой малыш теребит завязки ее фартука.

Ключная

Врожденная катаракта. Двусторонняя. Неизлечимая. «Видишь это? – спрашивают врачи. – А это?» Мари-Лора уже ничего в своей жизни не увидит. Самые знакомые места – их с папой четырехкомнатная квартира, скверик в конце улицы – превратились в опасные лабиринты. Шкафы не там, где думаешь. Унитаз – бездонная яма. стакан с водой то слишком близко, то слишком далеко, пальцы слишком большие, всегда слишком большие.

Что такое слепота? Там, где должна быть стена, руки проваливаются в пустоту. Там, где должна быть пустота, ударяешься ногой о ножку стола. На улицах рычат машины, листья шелестят в небе, кровь стучит в ушах. На лестнице, в кухне, даже подле ее кровати взрослые голоса звучат скорбно.

– Бедное дитя.

– Бедный мсье Леблан.

– Сколько несчастий на одного. Его отец погиб на войне, жена умерла в родах. А теперь это.

– Как будто на них проклятье.

– Гляньте на нее. Гляньте на него.

– Отправил бы ее в приют.

Месяцы синяков и страха: полы качаются, как палуба, приоткрытые двери бьют по лицу. Единственное спасение – в постели, укрывшись одеялом до под бородка, покуда отец сидит рядом, курит сигарету за сигаретой и мастерит свой очередной макет: тук-тук-тук, стучит молоток, уютно и мерно вжикает шкурка.

* * *

В конце концов отчаяние отступает. Мари-Лора еще очень маленькая, а ее отец очень терпелив. Он объясняет, что проклятия – выдумка. Может быть, есть везенье и невезенье. Один день чуть удачней, другой – наоборот. А вот проклятий не бывает.

Шесть раз в неделю отец будит ее до рассвета. Она стоит, расставив руки, он ее одевает. Чулки, платье, кофта. Если позволяет время, он велит ей самой завязать шнурки. Потом они вместе пьют на кухне крепкий горячий кофе. Папа разрешает Мари-Лоре класть столько сахара, сколько она захочет.

В шесть сорок она цепляется сзади за отцовский ремень, берет из угла белую трость, и они вместе проходят четыре лестничных пролета и шесть кварталов до музея.

Ровно в семь папа отпирает вход номер два. Внутри пахнет знакомо: лентой для пишущих машинок, мастикой для пола, каменной пылью. Под привычное эхо шагов они проходят по Большой галерее. Отец здоровается с ночным сторожем, потом со смотрителем. Каждое утро они обмениваются все теми же двумя словами: бонжур, бонжур.

Два поворота налево, один направо. Бренчат отцовские ключи. Замок щелкает.

В ключной, в шести шкафах со стеклянными дверцами, висят тысячи ключей: болванки, универсальные сувальдные, ключи с бородкой, полые, плоские и рифленые, ключи от лифтов и ключи от шкафов. Есть большие, с руку Мари-Лоры, а есть совсем маленькие, короче ее мизинца.

Папа Мари-Лоры – главный ключный мастер Национального музея естествознания. Он говорит, что, считая лаборатории, запасники, четыре отдельных здания, зверинец, оранжереи, ботанический сад, десятки ворот и павильонов, в музейном комплексе примерно двенадцать тысяч замков, а с ним не поспоришь, поскольку никто не знает эти замки лучше его.

Все утро он стоит перед шкафами и раздает ключи. Первыми приходят служители зоопарка. В восемь – наплыв зрителей, за ними подтягиваются техники, библиотекари, лаборанты. Научные сотрудники обычно последние. На всех ключах – нумерованные цветные бирки. Каждый работник, от смотрительницы зала до директора, обязан постоянно носить ключ при себе. Нельзя выходить из своего помещения без ключа, нельзя оставлять ключ на столе. Как-никак в музее хранится бесценный нефрит тринадцатого века, ярко-синий индийский кавансит и родохрозит из Колорадо. Под замком, который сделал папа Мари-Лоры, стоит флорентийская лазуритовая чаша, и специалисты едут за тысячи миль, чтобы на нее посмотреть.

Папа все время задает ей вопросы. Мари, это ключ от врезного замка, от навесного или от засова? Проверяет, помнит ли она расположение витрин и содержимое шкафов. Постоянно вкладывает ей в руку что-нибудь неожиданное: лампочку, окаменелую рыбу, перо фламинго.

По часу каждое утро – даже в воскресенье – папа заставляет ее сидеть над брайлевским учебником. «А» – одна точка в верхнем углу. «Б» – две точки одна под другой. *Жан. Купил. Булку. Жан. Купил. Сыр.*

Потом он вместе с ней совершает обход музея. Смазывает защелки, чинит витрины, полирует накладки врезных замков. Они с Мари-Лорой идут из зала в зал, из галереи в галерею. Узкие коридоры ведут в огромные библиотеки, стеклянные двери – в оранжереи, где пахнет землей, мокрыми газетами, лобелиями. Столярные мастерские и кабинеты таксидермистов, километры стеллажей и ящиков с образцами, целые музеи внутри музея.

Иногда он оставляет Мари-Лору в лаборатории доктора Жеффара, старенького специалиста по моллюскам, у которого борода всегда пахнет сырым деревом. Доктор Жеффар бросает свои дела, откупоривает бутылку красного вина и слабым голосом принимается рассказывать про места, где побывал в молодости: Сейшельские острова, Белиз, Занзибар. Он называет ее Лореттой; каждый день в три он ест жареную утку; его мозг хранит бесчисленное множество двойных латинских названий.

У дальней стены в кабинете доктора Жеффара стоят шкафы. Ящичков в них больше, чем Мари-Лора может сосчитать. Доктор Жеффар позволяет ей выдвигать их все и брать в руки раковины: трубачи, оливиды, валюты империалис с Таиланда, лямбисы из Полинезии, – в музее более десяти тысяч образцов, больше половины известных на земле видов, и Мари-Лора подержала в руках почти все.

– А вот эта лиловая раковина, Лоретта, принадлежала янтине – слепой морской улитке, которая всю жизнь живет на поверхности моря. Когда личинка вырастет, она вспенивает воду, чтобы получились пузырьки, и слизью склеивает из них плот. Дальше она плавает, куда гонят волны, и ловит мелких морских беспозвоночных. Но если плота не станет, она утонет...

Раковина каринарии одновременно легкая и тяжелая, твердая и мягкая, гладкая и шероховатая. Мурексами, которые доктор Жеффар держит у себя на столе, можно заниматься по полчаса, исследуя ребристые завитки, гребни и глубокое входное отверстие. Это целый лес шипов, ямок, бугорков – отдельное царство.

Мари-Лора все время что-нибудь трогает, гладит, изучает. У чучела синички невероятно мягкие перышки на грудке, а клюв – как иголка. Пыльца на тычинках тюльпана на самом деле не пыль, а маслянистые шарики. Ощупать что-нибудь по-настоящему – кору платана в саду, жука-оленья на булавке в отделе энтомологии, гладкую, словно лакированную, внутреннюю сторону морского гребешка в кабинете доктора Жеффара – значит полюбить.

Дома, по вечерам, папа ставит их обувь в один уголок, вешает их плащи на один крюк. Мари-Лора проходит по шести шершавым полоскам, наклеенным на кухонную плитку, и оказывается у стола; оттуда протянут шнур, по которому она добирается до уборной. Папа

подает еду на круглой тарелке и рассказывает, где что лежит, как если бы тарелка была циферблатом. Картошка на шести часах, *ma chérie*, шампиньоны на трех. Потом закуривает и идет точить свои макеты на верстаке в углу кухни. Он строит макет всего их района: домики с витринами, водосточные желоба, *laverie*, *boulangerie*⁶ и скверик с четырьмя скамейками и десятью деревьями. Теплыми вечерами Мари-Лора распахивает окно спальни и слушает, как тихая и мирная ночь ложится на балконы, фронтоны и печные трубы, пока дома на улице и макеты на отцовском верстаке не сливаются в одно.

По вторникам музей закрыт. Мари-Лора с отцом спят допоздна, пьют сладкий-пресладкий кофе. Идут гулять в Пантеон, или на цветочный рынок, или вдоль Сены. Довольно часто заходят в книжную лавку. Папа дает ей в руки словарь, газету, журнал с фотографиями.

– Сколько тут страниц, Мари-Лора?

– Пятьдесят две? – говорит она, проведя пальцем по обреза. Или: – Семьсот пять? – Или: – Сто тридцать девять?

Папа убирает ей волосы за уши, берет ее на руки и поднимает высоко-высоко. Говорит, что она его *émerveillement*⁷. И что он никогда-никогда ее не оставит, даже и через миллион лет.

⁶ Прачечная, булочная (фр.).

⁷ Восторг (фр.).

Радиоприемник

Вернеру восемь, и он роется в мусоре за складским навесом, когда ему попадает что-то вроде катушки. Это обмотанная проволокой трубка, зажатая между двумя деревянными дисками. Сверху болтаются три проводка, из них один – с наушником.

Шестилетняя Ютта (круглое личико под шапкой белых волос) сидит на корточках рядом с братом.

– Что это?

– По-моему, – отвечает Вернер, чувствуя себя так, будто перед ним вдруг распахнули райскую кладовую, – мы нашли приемник.

До сих пор он видел радиоприемники лишь издали: большой полированный за тюлевыми занавесками в доме у важного начальника, портативный в шахтерском общежитии и еще один в доме при церкви.

Они с Юттой относят приемник в дом номер три по Викторияштрассе и разглядывают под электрической лампочкой. Протирают дочиста, распутывают проводки, смывают с наушника грязь.

Приемник не работает. Другие дети подходят, стоят за спиной и дивятся, затем теряют интерес и решают, что чинить тут нечего. Однако Вернер уносит его к себе на чердак и возится с ним много часов. Отсоединяет все, что можно отсоединить, раскладывает детали на полу, одну за другой подносит их к свету.

Три недели спустя, солнечным днем, когда все другие цольферайнские дети на улице, он замечает, что самая длинная проволока, та, что намотана на катушку, в нескольких местах порвана. Медленно, аккуратно Вернер разматывает ее, уносит весь запутанный комок вниз и просит Ютту держать куски, пока он их будет соединять. Затем наматывает проволоку обратно.

– Давай попробуем, – шепчет Вернер, прижимает наушник к уху и двигает вдоль катушки то, что представляется ему рычажком настройки.

Треск. Потом из наушника вылетает череда согласных. У Вернера екает сердце – голос словно отдается у него в голове, глубоко внутри.

Звук обрывается так же, как возник. Вернер сдвигает рычажок на полсантиметра. Опять треск. Еще на полсантиметра. Ничего.

На кухне фрау Елена месит тесто. На улице кричат мальчишки. Вернер водит рычажком взад-вперед.

Треск, треск.

Он уже хочет протянуть наушник Ютте, когда – примерно на середине катушки – слышит чистейший звук смычка по скрипичной струне. Вернер пытается удержать рычажок на том же месте. Вступает вторая скрипка. Ютта придвигается ближе. Она смотрит на брата огромными глазами.

За скрипками гонится фортепьяно. Затем деревянные духовые. Скрипки мчат вперед, духовые поспевают следом. Вступают еще какие-то инструменты. Флейты? Арфы? Мелодия летит и как будто кружится.

– Вернер? – шепчет Ютта.

Он не может ответить из-за слез. Комната вроде бы такая же, как всегда: две колыбели под двумя латинскими крестами, за открытой дверцей печки клубится зола, десятки слоев краски лупятся с плинтуса. Над раковиной – вышитая крестиком заснеженная деревушка фрау Елены. Однако теперь ко всему этому добавилась музыка. В голове у Вернера играет невидимый крохотный оркестр.

Комната как будто вращается. Сестра настойчивее окликает его по имени, и Вернер прижимает наушник к ее уху.

– Музыка, – говорит он, изо всех сил стараясь удержать рычажок на месте.

Сигнал слабый, до наушника сантиметров пятнадцать, и Вернер не слышит даже отзвука музыки. Зато он видит лицо сестры – оно неподвижно, только вздрагивают ресницы. На кухне фрау Елена поднимает белые от муки руки и внимательно смотрит на Вернера. Двое мальчишек постарше вбегают с улицы и замирают, ощутив какую-то перемену. А маленький приемник с четырьмя клеммами и болтающейся антенной стоит на полу, словно чудо.

Отведи нас домой

Обычно у Мари-Лоры получается открыть деревянные коробочки-головоломки, которые папа дарит ей на день рождения. Чаще всего они в форме домиков, а внутри какая-нибудь приятная мелочь. Чтобы их открыть, нужно проделать ряд шагов: отыскать пальцами шов, сдвинуть дно, отсоединить боковую планку, достать из-под нее ключик, отпереть крышку – и найти браслетик.

На седьмой день рождения посреди стола вместо сахарницы стоит деревянное шале. Мари-Лора выдвигает спрятанный в основании ящик, находит за ним потайное отделение, вынимает оттуда деревянный ключик и вставляет его в трубу. Внутри – плитка швейцарского шоколада.

– Четыре минуты, – со смехом говорит папа. – На следующий год мне надо будет потрудиться побольше.

А вот макет района, в отличие от головоломок, долго не дается ее пониманию. Он совсем не похож на реальный мир. Например, перекресток рю-де-Мирбель и рю-Монж совсем не такой, как настоящий в квартале от их дома. Настоящий – амфитеатр звуков и запахов; осенью он пахнет машинами и касторкой, хлебом из пекарни, камфарой из аптеки Авена, мышиным горошком, дельфиниумом и розами из цветочного ларька. Зимой над ним плывет аромат жареных каштанов, летом он становится медленным и сонным: слышны неторопливые голоса и скрежет тяжелых железных стульев на тротуаре.

В папином макете тот же перекресток пахнет лишь опилками и высохшим клеем. Его улицы пусты, мостовые статичны; под пальцами Мари-Лоры они – не более чем сильно уменьшенная неточная копия. И все равно папа заставляет Мари-Лору вновь и вновь водить пальцами по макету, узнавать дома, запоминать углы между улицами. И как-то в холодный декабрьский вторник, когда Мари-Лора слепа уже больше года, отец доходит с нею по улице Кювье до ботанического сада.

– Вот, *ma chérie*, дорога, которой мы ходим каждый день. Впереди, за кедрами, Большая галерея.

– Знаю, папа.

Он берет ее за плечи и несколько раз поворачивает на месте:

– А теперь ты отведешь нас домой.

Она от растерянности открывает рот.

– Вспоминай макет, Мари.

– Не могу!

– Я на шаг позади тебя. Я прослежу, чтобы ничего плохого не случилось. У тебя есть трость. И ты знаешь, где мы.

– Не знаю!

– Знаешь.

Отчаяние. Мари-Лора не знает даже, где сад: позади или впереди.

– Успокойся, Мари. Давай по сантиметрику.

– Это так далеко, папа. Не меньше шести кварталов.

– Ровно шесть. Думай. В какую сторону нам идти?

Мир гремит и кружится. Каркают вороны, скрипят тормоза, слева кто-то стучит по металлу – может быть, молотком. Мари-Лора идет маленькими шажками, пока трость не повисает в воздухе. Край тротуара? Пруд, лестница, обрыв? Она поворачивает на девяносто градусов. Три шажка вперед, и трость упирается в стену.

– Папа?

– Я здесь.

Шесть шагов. Семь. Восемь. И тут их накрывает грохотом насоса: крысоморильщик вышел из дома и брызгает отравой. Еще через двенадцать шагов звенит колокольчик на двери магазина, выходят две женщины, толкают Мари-Лору.

Она роняет трость и начинает плакать.

Папа берет ее на руки, прижимает к узкой груди.

– Город такой большой... – шепчет она.

– Ты справишься, Мари.

Она знает, что не справится.

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ

Пока другие дети играют на улице в классики или купаются в канале, Вернер сидит один на чердаке и экспериментирует с приемником. Через неделю он может разобрать и собрать его с закрытыми глазами. Конденсатор, катушка индуктивности, катушка настройки, наушник. Один провод к заземлению, другой – вверх. Еще ничто в его жизни не было таким понятным и логичным.

Он находит на помойке обрезки медного провода, винтики, погнутую отвертку. Выпрашивает у жены аптекаря сломанный наушник. Достает соленоид из выброшенного дверного звонка, припаивает его к резистору и делает громкоговоритель. За месяц ему удастся целиком переделать приемник: добавить новые детали и подключить к питанию.

Всякий раз, как Вернер выносит приемник в общую комнату, фрау Елена разрешает своим питомцам слушать по часу. Они находят новости, концерты, оперы, хоры, народные представления. Сидят полукругом – десяток детей и фрау Елена, маленькая и худенькая, как ребенок.

«Мы живем в великое время, – говорит радио. – Мы не жалуемся. Мы твердо упрямся ногами в землю, и ни один враг нас не сдвинет».

Старшие девочки любят музыкальные конкурсы, радиогимнастику, «Советы влюбленным», от которых младшие дети хихикают. Мальчики любят театральные постановки, новости, военные марши. Ютта любит джаз. Вернер любит все. Скрипки, рожки, барабаны, речи – губы у микрофона на каком-то далеком, но вдохновляющем мероприятии – все завораживает его своим волшебством.

«Мудрено ли, – спрашивает радио, – что немецкий народ ощущает все больше отваги, уверенности, оптимизма? Не пламя ли новой веры встает из этой жертвенной готовности?»

И впрямь, Вернер видит, что жизнь меняется. Добыча угля выросла, безработица снизилась. Теперь по воскресеньям на обед мясо: говядина, свинина, сосиски. Роскошь, о которой год назад никто и не мечтал. Фрау Елена покупает новый диван, обитый оранжевым вельветом, и плиту с черными конфорками. Из Берлинской консистории присылают три новые Библии. К черной двери подвозят паровой котел для прачечной. У Вернера новые штаны, у Ютты – туфельки. В соседних домах звонят телефоны.

Как-то по пути из школы Вернер останавливается перед аптекой и прижимается носом к витрине. Там маршируют с полсотни штурмовиков. У каждой трехсантиметровой фигурки коричневая рубашка с красной повязкой на рукаве. Есть трубачи и барабанщики, несколько офицеров на лоснящихся вороных конях. Над ними гипнотически кружит на проволоке заводной самолет с деревянными поплавками и вращающимся винтом. Вернер долго смотрит через стекло, пытаясь понять, как устроена игрушка.

Осень тридцать шестого года, вечер. Вернер приносит радиоприемник в общую комнату и ставит на комод. Другие дети ерзают в предвкушении. Приемник гудит, разогреваясь. Вернер отступает на шаг и сует руки в карманы. Из динамика звучит детский хор. «У нас одна мечта: труд, труд, труд, доблестный труд на благо страны». Затем передают государственную радиопостановку из Берлина: историю о том, как в деревню ночью проникли захватчики.

Все двенадцать детей слушают не дыша. Захватчики в пьесе – носатые лавочники, ювелиры-мошенники, бесчестные банкиры; они продают блестящие, ни на что не годные побрякушки и отнимают работу у деревенских ремесленников. Они замышляют убить немецких детей, пока те спят. Однако бдительный сосед-бедняк разоблачает их замысел и вызывает полицию. У полицейских красивые, звучные голоса. Они выламывают двери и забирают захватчиков. Играет патриотический марш. Все снова счастливы.

Свет

Вторник за вторником ей не удается найти дорогу домой. Она уводит отца на шесть кварталов в другую сторону, злится и впадает в отчаяние. Однако зимой на восьмом году жизни у Мари-Лоры, к ее изумлению, начинает получаться. Она водит пальцами по макету в кухне, считает скамейки, деревья, фонарные столбы, подъезды и каждый день обнаруживает новые детали. У каждой канализационной решетки, парковой скамейки, водоразборной колонки есть аналог в большом мире.

Мари-Лора приводит отца все ближе к дому. Четыре квартала, три квартала, два. Потом все-таки сбивается. А однажды снежным мартовским вторником папа уводит ее на очередное новое место, почти у набережной Сены, трижды поворачивает и говорит: «Отведи нас домой». И тут Мари-Лора впервые понимает, что ей не страшно.

Она садится на корточки на тротуаре.

Железистый запах падающего снега. *Успокойся. Слушай.*

По улице несутся машины, звонко расплескивая лужи, талая вода бежит по стокам, снег сыплется в кронах деревьев. Мари-Лора за полкилометра ощущает запах кедров в ботаническом саду. Под тротуаром шумит метро. Это набережная Сен-Бернар. Ветки колышутся на ветру, стучат одна об другую. Это узкая полоска сада за Палеонтологической галереей. Значит, они на углу набережной Сен-Бернар и улицы Кювье.

Шесть кварталов, сорок домов, десять крохотных деревьев в сквере. Эта улица пересекает ту, потом ту. По сантиметрику.

Отец бренчит ключами в кармане. Впереди высокие дома по краю сада, их можно узнать по гулкому эху.

– Мы пойдем налево, – говорит Мари-Лора.

Они идут по улице Кювье. Три утки, хлопая крыльями в унисон, летят им навстречу к реке, и Мари-Лоре кажется, что она ощущает, как свет ложится на птиц, на каждое перышко отдельно.

Направо, на улицу Жоффруа Сент-Илера. Теперь налево, на улицу Добантона. Три канализационные решетки, четыре, пять. Сейчас слева будет ограда, ее прутья – как большая птичья клетка.

Впереди булочная, мясная лавка, кулинария.

– Машин нет, папа?

– Да, переходи.

Направо. Потом прямо. Они идут уже по своей улице, Мари-Лора точно знает, что это так. В шаге за нею папа запрокидывает голову и широко улыбается небу. Мари-Лора знает – хотя он у нее за спиной и молчит и хотя она слепая, – что папин шарф съехал набок, что его густые волосы мокры от снега и взъерошены и что он улыбается, подставив лицо снежинкам.

Они на середине рю-де-Патриарш. У своего дома. Мари-Лора находит рукой ствол каштана, который растет за ее окном четвертого этажа, щупает кору.

Старый друг.

Тут папа хватается за ее плечи и начинает кружить. Мари-Лора улыбается, а папа смеется звонким заразительным смехом, который ей хочется запомнить на всю жизнь. Отец и дочь кружатся на тротуаре перед домом и хохочут, а снег сыплется сквозь ветки дерева над головой.

Наше знамя реет впереди!

Весной того года, когда Вернеру исполнилось девять, двое мальчиков из сиротского дома – тринадцатилетний Ганс Шильцер и четырнадцатилетний Герриберт Помзель – закидывают за спину старенькие рюкзаки и строевым шагом уходят в лес. Возвращаются они уже членами гитлерюгенда.

Они мастерят себе рогатки и копья, устраивают учебные засады за сугробами. Присоединяются к агрессивной компании шахтерских сыновей, которые сидят на рыночной площади, в рубашках с закатанными рукавами и поддернутых шортах. «Добрый вечер! – кричат они прохожим. – Или хайль Гитлер, если предпочитаете!»

Ганс и Герриберт взяли ножницы и сделали друг другу одинаковые стрижки. Они борются в общей комнате и хвастают, что готовятся к учебным стрельбам. Рассказывают, как будут летать на планерах и наводить танковые орудия. «Наше знамя – новая пора, – поют Ганс и Герриберт. – Наше знамя в вечность нас ведет». За едой они укоряют младших детей за то, что тем нравится что-нибудь иностранное: реклама английского автомобиля, французская книжка с картинками.

Фрау Елена все реже говорит по-французски в присутствии Ганса и Герриберта. Она стала стесняться своего акцента. Во взглядах соседей ей чудится неприязнь.

Вернер молчит. Прыгать через костры, рисовать золой круги под глазами, дразнить малышню? Комкать Юттины рисунки? Куда лучше держаться незаметно. Вернер читает в аптеке популярные журналы: его интересует турбулентия, тоннели к центру земли, нигерийский способ передавать сообщения барабанным боем. Он покупает тетрадку и рисует планы камеры Вильсона, ионного детектора, рентгеновских очков. Что, если к колыбели приделать электромоторчик для укачивания младенца? Или натянуть между осями тележки пружину, чтобы легче было втаскивать ее по склону?

Чиновник из министерства труда приходит в сиротский дом рассказать о работе на шахтах. Дети, в лучшей одежде, сидят и слушают. Все мальчики, говорит чиновник, по достижении пятнадцати лет пойдут добывать уголь. Без исключения. Он говорит о величии труда, о том, как им повезло, что у них гарантированно будет работа. Потом берет радиоприемник Вернера и, ничего не сказав, ставит обратно. У Вернера такое чувство, будто потолок опустился, а стены сдвинулись.

Его отец там, в миле под домом. Тело так и не нашли. Дух до сих пор бродит по тоннелям.

– Ваша земля, – говорит чиновник, – создает могущество нашей нации. Сталь, уголь, кокс. Без Цольферайна нет Берлина, Франкфурта, Мюнхена. Вы – фундамент нового порядка. Вы даете снаряды его орудиям, броню его танкам.

Ганс и Герриберт завороченно глядят на кожаную кобуру чиновника. На комод бормочет радио Вернера.

Оно говорит: *В эти три года фюреру достало смелости обратиться к Европе, которой угрожает крах...*

И еще оно говорит: *Ему одному мы обязаны тем, что для немецких детей немецкая жизнь вновь обрела радость и смысл.*

Вокруг света за восемьдесят дней

Шестнадцать шагов до фонтана, шестнадцать обратно. Сорок два до лестницы, сорок два обратно. Мари-Лора составляет карты в голове, разматывает сотни метров воображаемой бечевки, затем поворачивает и сматывает их обратно. Ботаника пахнет клеем, промокательной бумагой, засушенными растениями. Палеонтология – каменной и костной пылью. Биология – формалином и вялеными фруктами; она полна очень тяжелыми холодными банками, в которых плавают то, что Мари-Лора знает только по рассказам: бледные клубки гремучих змей, отрезанные руки горилл. Энтомология пахнет тем, что, по словам доктора Жеффара, зовется нафталином. Кабинеты пахнут копиркой, или сигарным дымом, или коньяком, или духами. Иногда всем сразу.

Мари-Лора ходит вдоль проводов и труб, перил и канатов, оград и тротуаров. Пугает людей. Она никогда не знает, светло сейчас или темно.

Другие дети засыпают ее вопросами. Это больно? Ты закрываешь глаза во сне? Как ты узнаешь, который час?

Не больно, объясняет она. И это не темнота в том смысле, в каком им представляется. Все состоит из паутин, решеток, звуков и осязаемых поверхностей. Мари-Лора ходит кругами по Большой галерее, ориентируясь по скрипу половиц. Она слышит шаги на музейной лестнице, плач маленького ребенка, вздох, с которым усталая бабушка опускается на скамейку.

Другим людям невдомек, что ее мир полон красок. В воображении Мари-Лоры, в ее снах все цветное. Музейные здания бежевые, каштановые, кофейные. Научные сотрудники – лиловые, лимонно-желтые, морковно-рыжие. Фортепьянные аккорды из репродуктора на посту охраны долетают до ключной мастерской бархатисто-черными и ажурно-синими отсветами. Колокольный звон – бронзовые дуги, которые отражаются от окон. Пчелы серебристые. Голуби кирпичные, охристые, иногда золотистые. Большой кипарис, мимо которого Мари-Лора с отцом проходят утром, – калейдоскоп, каждая его иголка – многогранное сверкание.

Маму она не помнит, но представляет ее белой, беззвучной и сияющей. Папа лучится тысячами цветов: молочно-белым, травяно-зеленым, огненно-алым, от него исходят запахи металла и смазки, ощущение встающих на место сувальд, мелодичный перезвон ключей. Он оливково-зеленый, когда говорит с начальником отдела, все более ярких оттенков оранжевого, когда беседует с мадемуазель Флери из оранжереи, красный, когда пытается готовить. Вечерами, почти неслышно напевая при работе за верстаком, он лучится сапфировым светом, а кончик его сигареты мерцает кристаллически-голубым.

Мари-Лора часто теряется, и тогда секретарши или биологи (один раз даже заместитель директора) отводят ее в ключную мастерскую. Она любопытная; хочет знать разницу между мхом и лишайником, между *Diplodon charruanus* и *Diplodon delodontus*. Знаменитые люди водят ее за руку по саду и помогают ей подняться по лестнице.

– У меня тоже есть дочка, – говорят они. Или: – Я нашел ее среди колибри.

– *Toutes mes excuses*⁸, – говорит ее отец. Закуривает. Вынимает из карманов один ключ за другим. Шепчет: – Что мне с тобою делать?

На девятый день рождения Мари-Лора, проснувшись, находит два подарка. Первый – деревянная коробочка без единой щелки. Мари-Лора долго крутит ее в руках, прежде чем догадывается вдавить одну грань, и та отскакивает на пружине. Внутри – кубик камамбера, который Мари-Лора со смехом отправляет в рот.

⁸ Приношу извинения (фр.).

– Слишком легко! – смеется папа.

Второй подарок тяжелый, обернут в бумагу и перевязан бечевкой. Внутри – большая книга со спиральным переплетом. Шрифтом Брайля.

– Мне сказали, это для мальчиков. Или для девочек, которые очень любят приключения. По голосу слышно, что папа улыбается.

Мари-Лора скользит пальцами по титульному листу. *Вокруг. Света. За. Восемьдесят. Дней.*

– Папа, это слишком дорого.

– Вот уж не твоя забота.

В то утро Мари-Лора заползает под стол в ключной мастерской и, лежа на животе, двигает всеми десятью пальцами по строчкам. Французский кажется старомодным, шрифт – непривычно мелкий. Однако через неделю она уже читает с легкостью. Находит ленточку, которая служит закладкой, открывает книгу, и музей исчезает.

Загадочный мистер Фогг живет по часам – не человек, а машина. Жан Паспарту нанимается к нему слугой. Через два месяца, дочитав книгу до конца, Мари-Лора вновь открывает ее на первой странице и начинает сначала. Вечерами она ведет пальцами по отцовскому макету, трогает колокольню, витрину и воображает, как герои Жюль Верна идут по улицам, разговаривают в магазинах, сантиметровой пекарь достает из печи булки размером с песчинки, трое крохотных преступников медленно проезжают мимо ювелирной лавки, составляя план ограбления, автомобильчики катят по рю-де-Мирбель, дворники шуршат по их стеклам. В миниатюрной квартире на рю-де-Патриарш миниатюрная версия ее отца сидит за миниатюрным верстаком, точно как в жизни, обрабатывает шкуркой мельчайший кусочек дерева; напротив него миниатюрная девочка, худенькая и сообразительная, на коленях у нее раскрытая книга, в груди бьется что-то огромное, бесстрашное, исполненное надежд и устремлений.

Профессор

– Поклянись, – говорит Ютта. – Клянешься?

Среди ржавых жестянок, рваных велосипедных камер, червяков и грязи на дне овражка она нашла пять метров медной проволоки. Ее глаза сияют.

Вернер смотрит на деревья, на овражек, потом снова на сестру:

– Клянусь.

Вместе они приносят проволоку домой и протягивают через дырки от гвоздей на кровле за чердачным окном. Другой конец прикрепляют к приемнику. И почти сразу на коротких волнах слышно, как кто-то говорит на странном шипяще-свистящем языке.

– Это русский?

Вернер говорит, что, наверное, венгерский.

В душной полутьме Ютта смотрит на брата огромными глазами:

– А далеко до Венгрии?

– Тысяча километров, наверное.

Ютта ахает.

Оказывается, голоса текут в Цольферайн со всего континента, через облака, угольную пыль, крышу. Весь воздух пронизан ими. Ютта нарисовала на бумаге шкалу, такую же, какую Вернер сделал на катушке приемника, и тщательно записывает название каждого города, который им удастся поймать. «Верона 65», «Дрезден 88», «Лондон 100». Рим. Париж. Лион. Ночные коротковолновые передачи. Время бездельников и мечтателей, безумцев и пустомель.

После молитвы и отбоя Ютта тайком убегает к брату на чердак. Теперь они не рисуют, а лежат, прижавшись друг к дружке, и слушают до полуночи, до часу, до двух. Британскую новостную передачу, в которой не понимают ни слова, женщину из Берлина, которая рассказывает, как правильно накладывать макияж для вечернего приема.

Как-то Вернер с Юттой ловят передачу, в которой молодой человек по-французски рассказывает про свет. Он говорит быстро, выразительно:

Разумеется, дети, мозг погружен во тьму. Он плавает в жидкости внутри черепной коробки, куда никогда не попадает свет. И все же мир, выстраиваемый в мозгу, полон цвета, красок, движения. Так как же мозг, живущий среди вечной тьмы, выстраивает для нас мир, полный света?

Хрип помех. Треск.

– Что это? – спрашивает Ютта.

Вернер не отвечает. Голос у француза бархатистый, произношение совсем другое, чем у фрау Елены, но речь такая пылкая, такая гипнотизирующая, что Вернер понимает каждое слово. Француз рассказывает про оптические иллюзии, про электромагнетизм. Помехи, треск, как будто переворачивают пластинку, затем француз начинает говорить про уголь:

Представьте себе кусок угля в вашей семейной печке. Видите его, дети? Когда-то он был зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос миллион лет назад. А может, не миллион, а два или даже сто миллионов лет назад. Можете вообразить сто миллионов лет? Каждое лето своей жизни растение ловило листьями свет и преобразовывало его в себя: в кору, побеги, стебель. Потому что растения едят свет, как мы едим пищу. Потом оно умерло и упало, возможно в воду, и со временем превратилось в торф. Торф лежал под землей годы и годы – эпохи, в сравнении с которыми месяц, десятилетие, вся ваша жизнь – тиик, щелчок пальцами. Торф высох, окаменел, потом его выкопали, а угольщик привез к вам домой, и, может быть, вы сами отнесли его к печке. И теперь солнечный свет, которому сто миллионов лет, согревает ваш дом.

Время замедлилось. Чердак исчез. Ютта исчезла. Никто и никогда не говорил так Вернеру о том, что ему интереснее всего.

Откройте глаза, заканчивает голос, и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки. Потом вступает фортепьяно. Звучит одинокая мелодия, от которой у Вернера такое чувство, будто золотая лодка скользит по темной реке. Черда аккордов преобразует Цольферайн; дома растаяли, фабричные трубы рухнули, шахты заполнились землей, улицы заливают древнее море, воздух дышит обещаниями чудес.

Море огня

По парижскому музею порхают слухи – яркие и красочные, словно шелковые платки. Руководство-де планирует выставить некий драгоценный камень, который стоит больше, чем все остальные экспонаты.

Мари-Лора слышит, как один таксидермист говорит другому:

– Говорят, этот камень из Японии и очень древний. В одиннадцатом веке он принадлежал сёгуну.

– Я слышал, – отвечает второй таксидермист, – что он из наших запасников. Хранился в музее с давних пор, но по каким-то юридическим причинам его нельзя было выставлять.

Сперва это друза редкой разновидности гидромагнетита, потом – звездчатый сапфир, о который можно обжечься. Потом становится алмазом, алмазом без всяких сомнений. Некоторые называют его Пастушьим камнем, другие – Хон-Ма, однако вскоре остается только одно название – Море огня.

Мари-Лора думает: прошло четыре года.

– Он приносит несчастье всем, кому принадлежит, – говорит служитель на вахте. – Я слышал, все девять его прежних хозяев покончили с собой.

Второй голос возражает:

– Я слышал, если коснуться его рукой без перчатки, умрешь в течение недели.

– Нет, нет. Пока ты им владеешь, ты не можешь умереть, но все твои близкие гибнут в течение месяца. Или года.

– Вот бы мне его! – со смехом произносит третий голос.

У Мари-Лоры бешено стучит сердце. Ей десять лет, и на черный экран своего воображения она может спроецировать что угодно: яхту под парусами, фехтовальный поединок, играющий красками Колизей. Она читала «Вокруг света за восемьдесят дней», пока брайлевский шрифт не стал мягким, неразборчивым. В этом году папа подарил ей на день рождения еще более толстую книгу – «Трех мушкетеров» Дюма.

Мари-Лора слышит, что алмаз бледно-зеленый, размером с пуговицу от пальто. Потом – что со спичечный коробок. Через день он уже синий, с кулак младенца. Она представляет, как разгневанная богиня ходит по музею, испуская отравленные облака проклятий. Отец говорит ей не придумывать. Камни – просто камни, дождь – просто дождь, а злой рок – просто стечение обстоятельств. Некоторые предметы – просто очень редкие, поэтому их и держат под замком.

– Но ты, папа, в него веришь?

– В камень или в проклятие?

– И в то и в другое.

– Это просто рассказы, Мари.

Однако, как только происходит что-нибудь дурное, сотрудники шепчутся, что причина – в камне. Свет выключился на час – виноват камень. Протечка трубы уничтожила целый стеллаж гербариев – виноват камень. Жена директора поскользнулась на обледенелой площади Вогезов и сломала запястье в двух местах – тут уж машина музейных слухов просто взорвалась.

Примерно в те же дни отца Мари-Лоры вызывают наверх, в кабинет директора. Он проводит там два часа. Когда еще на ее памяти его вызывали к директору на два часа? Никогда.

Чуть ли не сразу отец начинает работать в Минералогической галерее. В течение недели он возит туда на тачке разные инструменты из ключной мастерской. Задерживается долго после закрытия музея, а когда возвращается в мастерскую, от него пахнет опилками и припоем. Всякий раз, как Мари-Лора просит разрешения пойти с ним, он говорит, что

лучше ей посидеть в ключной с брайлевскими учебниками или подняться в лабораторию моллюсков.

За завтраком она пристаёт к нему с разговорами:

– Ты делаешь специальную витрину для того алмаза. Этаким прозрачный сейф.

Отец закуривает.

– Пожалуйста, возьми свою книгу, Мари. Нам пора идти.

Доктор Жеффар тоже уходит от ответа:

– Ты знаешь, как растут алмазы, Лоретта? И вообще кристаллы? Микроскопические слои в несколько тысяч атомов нарастают каждый месяц. Тысячелетие за тысячелетием. Так же накапливаются легенды. Все старые камни обрастают легендами. Может быть, камешек, который так тебя занимает, видел разграбление Рима Аларихом. Может быть, им любовались фараоны или скифские царицы плясали ночи напролет, украсив им прическу. Может быть, из-за него начинались войны.

– Папа говорит, проклятия – сказки, придуманные, чтобы отпугнуть воров. Он говорит, в музее шестьдесят пять миллионов экспонатов и, если найти правильного наставника, все они одинаково интересны.

– И все же, – замечает доктор Жеффар, – некоторые предметы действуют особенно сильно. Жемчужины. Левозакрученные раковины. Даже у лучших ученых возникает соблазн что-нибудь прикарманить. Удивительно, что нечто настолько маленькое может быть настолько красивым. Настолько дорогим. Только самые сильные духом могут побороть эти чувства.

С минуту они оба молчат, потом Мари-Лора говорит:

– Я слышала, этот алмаз – словно частица света из первоначального мира. До грехопадения. Частица света, излитого на землю Богом.

– Ты хочешь знать, как он выглядит. Тебе любопытно.

Мари-Лора катает в ладонях мурекса. Подносит к уху. Десять тысяч ящичков, десять тысяч шепотков в десяти тысячах раковин.

– Нет, – говорит она. – Я хочу быть уверена, что папа даже близко к нему не подойдет.

Откройте глаза

Вернер и Ютта находят ту передачу снова и снова. Всегда после отбоя, всегда на середине программы.

А сегодня, дети, подумаем, какие сложные механизмы должны включиться у вас в голове, чтобы вы почесали бровь...

Они слушают программу про морских животных, потом – про Северный полюс. Ютте особенно понравилось про магниты, Вернеру – про свет: затмения, солнечные часы, северное сияние и длину волн. *Как мы называем видимый свет? Мы называем его цветами. Однако электромагнитный спектр начинается от нуля и продолжается до бесконечности, так что на самом деле, дети, количественно весь свет – невидимый.*

Вернер любит сидеть на чердаке и воображать радиоволны как струны в мило длиной, которые изгибаются и вибрируют над Цольферайном, летят через леса, через города, сквозь стены. В полночь они с Юттой выискивают в ионосфере этот звучный, проникновенный голос, а когда находят, Вернеру чудится, будто он попал в иной пласт бытия, туда, где возможны великие открытия, а сирота из шахтерского поселка в силах разрешить какую-нибудь важнейшую загадку физического мира.

Они с сестрой повторяют опыты, о которых рассказывает француз: делают моторные лодки из спичек, магниты из швейных иголок.

– Почему он не рассказывает, где он?

– Может, не хочет, чтобы мы знали?

– По голосу он богатый. И одинокий. Я уверена: он ведет передачу из огромного дома, который больше всего нашего поселка. В доме тысяча окон и тысяча слуг.

– Может быть, – улыбается Вернер.

Голос, потом снова фортепьяно. Может, Вернеру мерещится, но вроде бы каждый раз программа слышна все хуже, как будто француз вещает с медленно удаляющегося корабля.

Неделю за неделей, лежа рядом с уснувшей Юттой, Вернер смотрит в ночное небо, и его мучительно тянет прочь. Там, за коксохимическими заводами, за воротами, – жизнь. Там люди бьются над важными задачами. Вернер воображает себя рослым инженером в белом халате: вот он ходит по лаборатории, котлы кипят, механизмы урчат, по стенам развешены сложные графики. Он берет фонарь, поднимается по винтовой лестнице в озаренную звездами обсерваторию и смотрит в окуляр огромного телескопа, направленного в черноту.

Затишье

Может, старый экскурсовод спятил. Может, никакого Моря огня никогда не было. А может, проклятие – выдумки, и прав отец: Земля – просто магма, лито сфера и океаны. Камни – просто камни, дождь – просто дождь, а злой рок – просто стечение обстоятельств.

Отец больше не задерживается в Минералогической галерее допоздна. Вскоре он уже вновь берет Мари с собой, отправляясь по делам, подшучивает над тем, сколько сахара она кладет в кофе, спорит со зрителями, чья марка сигарет лучше. Никакого нового сверкающего алмаза в экспозиции не появляется. На сотрудников музея не нападает мор. Мари-Лору не кусает ядовитая змея, она не проваливается в канализационный люк и не ломает себе шею.

Утром своего одиннадцатилетия она находит на месте сахарницы два завернутых в бумагу предмета. Первый – лакированный деревянный куб, целиком состоящий из сдвижных панелей. Чтобы открыть его, нужно проделать тринадцать операций, и Мари-Лора находит их последовательность за пять минут.

– Господи! – восклицает ее отец. – Да тебе впору сейфы вскрывать!

Внутри куба две карамельки. Мари-Лора разворачивает их и кладет в рот обе сразу.

Во второй упаковке толстая стопка бумажных листов с брайлевским шрифтом на обложке. *Двадцать. Тысяч. Лье. Под. Водой.*

– Книготорговец говорит, книга в двух томах. Это первый. Думаю, на следующий год, если по-прежнему будем откладывать каждый месяц, сможем купить и второй.

Мари-Лора тут же принимается читать. Рассказчик, знаменитый морской биолог Пьер Аронакс, работает в том же музее, что и ее отец! Он узнает, что по всему миру гибнут корабли, пропоротые неведомым тараном. После научной экспедиции в Америку Аронакс гадает, что было истинной причиной крушений. Блуждающий риф? Исполинский нарвал? Мифический морской змей?

«Но я предаюсь мечтаниям, с которыми мне приличествовало бы бороться! – пишет Аронакс. – Прочь, порождение фантазии!»⁹

Весь день Мари-Лора лежит на животе и читает. Логика, разум, чистая наука – вот, по словам Аронакса, путь к решению загадки. Никаких сказок! Ее пальцы канатоходцами бегут по натянутой проволоке предложений. В мечтах она уже на палубе быстроходного двухтрубного фрегата «Авраам Линкольн», видит, как удаляется Нью-Йорк, а форты Нью-Джерси салютуют из самых больших орудий. Бакены, отмечающие фарватер, качаются на волнах. Два плавучих маяка остаются позади, а впереди лежит темный мерцающий простор Атлантического океана.

⁹ Здесь и далее цитаты из «Двадцати тысяч лье под водой» приведены в переводе Н. Яковлевой и Е. Корша.

Принципы механики

В сиротский дом приезжает замминистра с женой. Фрау Елена говорит, они инспектируют детские приюты.

Все умыты и ведут себя тихо. Дети шепчутся, что, может быть, их хотят усыновить. Старшие девочки раскладывают пумперникель¹⁰ и гусиную печенку на последние необколотые тарелки. Толстый замминистра и его строгая жена озирают комнату, словно знатные господа, заглянувшие в грязный крестьянский домишко. Наконец ужин подан. Вернер сидит на мальчишеской стороне стола, с книгой на коленях. Ютта вместе с другими девочками – напротив. Волосы у нее белые-пребелые и вьются мелким бесом, будто наэлектризованные.

Благослови нас, о Боже, и сии дары Твои. Фрау Елена добавляет молитву о здравии замминистра. Все принимаются за еду.

Дети нервничают. Даже Ганс Шильцер и Герриберт Помзель, в своих коричневых рубашках, ведут себя смирно. Жена замминистра сидит так прямо, словно ее хребет вырезан из дуба.

Ее муж спрашивает:

– И все дети помогают готовить?

– Конечно. Клаудиа, например, пекла хлеб. А близняшки жарили печенку.

Большая Клаудиа Фёрстер краснеет. Близняшки опускают глаза.

Вернер отвлекается. Он думает о книге у себя на коленях, «Принципах механики» Генриха Герца. Она лежала в подвале церкви, подмокшая, старая, никому не нужная, и настоятель разрешил Вернеру забрать ее домой, а фрау Елена не запретила, и в следующие недели Вернер продирался через непонятную математику. Он узнал, что электричество само по себе может быть статичным, но добавь магнетизм, и тут же появится движение – волны. Поля и контуры, индукция и проводники. Пространство, время, масса. Воздух пронизывает столько всего невидимого! Вот бы научиться видеть инфракрасное излучение, и ультрафиолет, и радиоволны в темнеющем небе, прошивающие стены дома.

Он поднимает глаза и замечает, что все смотрят на него. У фрау Елены лицо встревоженное.

– Это книга, господин заместитель министра.

Ганс Шильцер хватает «Принципы механики» у Вернера с колен. Том такой тяжелый, что Гансу приходится держать его двумя руками.

Жена замминистра сводит брови, так что морщины между ними становятся глубже.

У Вернера кровь приливает к щекам.

Замминистра протягивает пухлую руку.

– Это еврейская книга? – спрашивает Герриберт Помзель. – Она ведь еврейская, да?

Фрау Елена как будто хочет что-то сказать, но так ничего и не говорит.

– Герц родился в Гамбурге, – мямлит Вернер.

Ютта ни с того ни с сего объявляет:

– У моего брата очень хорошо с математикой. Гораздо лучше, чем у всех его одноклассников. Когда-нибудь он выиграет большую премию. Он говорит, мы с ним поедem в Берлин и будем учиться у великих ученых.

Младшие дети таращат глаза, старшие фыркают. Вернер смотрит в тарелку. Замминистра, хмурясь, переворачивает страницы. Ганс Шильцер под столом бьет Вернера ногой.

– Помолчи, Ютта, – говорит фрау Елена.

¹⁰ Немецкий хлеб из ржаной муки грубого помола.

Супруга замминистра берет на вилку кусок печенки, отправляет в рот, прожевывает, глотает и промакивает салфеткой уголки рта. Замминистра кладет «Принципы механики» на стол, отодвигает и смотрит на свои ладони, как будто они замараны. Он говорит:

– Твой брат, девочка, никуда не поедет. Как только ему исполнится пятнадцать, он пойдет на шахту. Точно так же, как остальные мальчики из этого дома.

Ютта стискивает зубы. Вернер смотрит на остывшую печенку. У него щиплет глаза и что-то сжимается в груди. До конца ужина слышно только, как дети отрезают печенку, жуют и глотают.

Слухи

Возникают новые слухи. Они шелестят по дорожкам ботанического сада, витают в музейных галереях, эхом отдаются в высоких темных бастиях, где старые сморщенные биологи изучают экзотические мхи. Слухи о немцах.

У них, говорит садовник, шесть тысяч десантных планеров. Их солдаты могут сутками маршировать без еды. Они заделывают детей каждой школьнице, которую встретят. Кассирша за билетной стойкой говорит, у немцев есть реактивные ранцы, чтобы летать, а их форма сшита из особой материи, которая крепче стали.

Мари-Лора сидит перед витриной с моллюсками и ловит разговоры посетителей.

Мальчик говорит:

– У них есть бомба под названием «Секретный сигнал». Она издает звук, и все, кто его слышит, накладывают в штаны!

Смех.

– Я слышал, они раздают отравленный шоколад.

– Я слышал, они забирают калек и сумасшедших.

Всякий раз, как Мари-Лора пересказывает отцу услышанное, тот говорит «Германия» с вопросительным знаком, будто впервые. Он говорит, что аншлюс Австрии – не повод волноваться. Что все помнят прошлую войну и нет сумасшедших развязывать новую. Директор не беспокоится, говорит он, и начальники отделов тоже, так что маленькой девочке тем более надо не беспокоиться, а думать об уроках.

И впрямь, все по-прежнему, меняются только дни недели. Каждое утро Мари-Лора встает, одевается, вместе с отцом доходит до подъезда номер два и слышит обычные утренние приветствия ночного сторожа и смотрителя. Бонжур, бонжур. Бонжур, бонжур. Ученые и библиотекари с утра все так же забирают ключи, все так же изучают древние слоновьи бивни, экзотических медуз, гербарии. Секретарши все так же болтают о моде. Директор все так же подъезжает в двухцветном лимузине «деляж», в полдень чернокожие торговцы все так же тихо катят по залам тележки с бутербродами и так же шепчут: хлеб с яйцом, хлеб с яйцом.

Мари-Лора читает Жюль Верна в ключной, в уборной, в коридорах, на лавочках в Большой галерее и на бесчисленных дорожках в саду. Она прочитала первый том «Двадцати тысяч лье под водой» столько раз, что практически выучила наизусть.

Море – это все! Оно покрывает собою семь десятых земного шара... В лоне морей обитают невиданные, диковинные существа. Море – это вечное движение и любовь, вечная жизнь.

Ночью, под одеялом, она скользит по морю в «Наутилусе» капитана Немо, под волнами, среди разноцветных кораллов.

Доктор Жеффар говорит ей, как называются раковины – *Lambis lambis*, *Cypraea moneta*, *Lophiotoma acuta*, – и дает ощупать их ребра, устья, завитки. Он рассказывает про эволюционное древо и геологические периоды. Иногда ей удается вообразить бесконечность прошедших эпох, миллионы, десятки миллионов лет.

– Почти все когда-либо жившие виды вымерли, Лоретта. У человека нет никаких причин считать себя исключением! – говорит он почти торжествующе и наливает себе вина.

Мари-Лоре представляется, что его голова – шкаф с десятью тысячами ящичков.

Летом по саду плывут запахи крапивы, маргариток и дождя. Мари-Лора с отцом пекут грушевый пирог, и он подгорает. Отец распахивает окно, чтобы выпустить чад, и с улицы внизу доносятся звуки скрипки. Однако в начале осени, раз или два в неделю, сидя в ботаническом саду или читая рядом с отцовским верстаком, Мари-Лора вдруг поднимает глаза

от книги и ей кажется, что в воздухе пахнет бензином. Словно на нее медленно, неудержимо надвигается мощный поток машин.

Больше, быстрее, лучше

Членство в молодежной организации становится обязательным. В дружине Вернера мальчики учатся ходить строем, сдают нормативы физподготовки. Шестьдесят метров надо пробежать за двенадцать секунд. Через слово: отечество, победы, слава, жертвенность.

«Живи верно, – скандируют мальчишки, маршируя мимо поселка. – Сражайся храбро, умри смеясь».

Уроки, домашние обязанности, тренировки. Ночами Вернер допоздна слушает радио или разбирается в математических формулах, которые успел переписать из «Принципов механики», пока их не изъяли. Он зеваёт за едой, срывается на младших детей.

– Ты не заболел? – спрашивает фрау Елена, заглядывая ему в лицо.

– Нет, – отвечает Вернер, пряча глаза.

Теории Герца интересны, но Вернеру больше нравится что-нибудь собирать, нравится, когда руки и мозг действуют сообща. Он починил большие напольные часы в приюте и швейную машину у соседки. Соорудил систему блоков, чтобы втаскивать высохшее бельё с улицы, и простую сигнализацию из батарейки, звонка и проволоки, чтобы фрау Елена слышала, когда кто-нибудь из малышей пытается сбежать за дверь. Придумал машинку для резки моркови: нажимаешь рычажок, опускаются девятнадцать лезвий – и морковка распадается на двадцать аккуратных цилиндров.

Как-то у соседки сломался радиоприемник, и фрау Елена посоветовала той позвать Вернера. Он отвинчивает заднюю панель, проверяет лампы. Одна отошла, и Вернер вставляет ее на место. Приемник тут же оживает, соседка ахает от восторга. Вскоре незнакомые люди уже приходят в сиротский дом и спрашивают радиомастера. Когда к ним, моргая, спускается с чердака тринадцатилетний Вернер с самодельным ящиком для инструментов, всклокоченный и белобрысый, они скептически хмыкают.

Старые приемники чинить легче всего: у них простая схема, одинаковые лампы. Иногда надо удалить парафин, накапавший с конденсатора, иногда – почистить резистор. И даже в новейших приемниках Вернер обычно может понять, что сломалось. Он разбирает аппарат, смотрит на схему, прослеживает пальцами путь электронов. Источник питания, триод, резистор, катушка. Динамик. Мозг настраивается на задачу, из хаоса возникает порядок, поломка становится очевидной, и вскоре приемник уже починен.

Иногда Вернеру дают несколько марок. Иногда шахтерская жена варит ему сосиски или заворачивает в салфетку печенье для сестренки. Скоро Вернер уже может мысленно нарисовать карту расположения всех приемников в округе: самодельный детекторный у аптекаря на кухне, десятиламповая радиолла у начальника отдела (она била током при попытке сменить программу). Даже в самых бедных шахтерских домах есть государственный приемник с орлом и свастикой – длинно- и средневолновый «Фолькс-Эмпфенгер VE301», на котором указаны только немецкие станции.

Радио приковывает миллионы ушей к одному рту. Рокошущий голос рейха, точно некое неколебимое дерево, тянется из динамиков по всему Цольферайну, и граждане принимают к его ветвям, словно к уставам Бога. А когда Бог умолкает, людям срочно нужен радиомастер, чтобы голос зазвучал снова.

Семь дней в неделю шахтеры вытаскивают уголь на свет, где его дробят и загружают в коксовые печи, затем охлаждают в огромных тушильных башнях и везут в домны, где из руды выплавляют чугун, и в мартены, где из чугуна делают сталь; сталь разливают в формы, слитки грузят на баржи и отправляют в огромную голодную пасть страны. «Лишь в жарчайшем пламени, – бубнит радио, – достигается очищение. Лишь из труднейших испытаний восстанут избранные Божьи».

Ютта шепчет:

– Сегодня из бассейна выгнали девочку. Инге Гахманн. Сказали, что нам нельзя плавать вместе с полукровкой. Негигиенично. Полукровка, Вернер. Разве мы не все полукровки? Половина крови от мамы, половина от папы?

– Они имели в виду, что она наполовину еврейка. Говори потише. Мы не полукровки.

– Наверняка мы наполовину кто-то.

– Мы стопроцентные немцы. Не половинки.

Герриберту Помзелю уже пятнадцать, он живет в шахтерском общежитии, работает во вторую смену. Ганс Шильцер теперь старший мальчик в приюте. Он делает сто отжиманий подряд и собирается на партийный съезд в Эссен. Дерется на улицах; говорят, что он поджег чью-то машину. Однажды вечером Вернер слышит, как Ганс орет на фрау Елену. Хлопает парадная дверь, дети ворочаются в постелях. Фрау Елена долго ходит по комнате: шлепанцы шуршат вправо, шуршат влево. В сырой темноте за окном проезжают грузовики с углем. Вдалеке рокочут механизмы: стучат поршни, вращаются приводные ремни. Плавно. Бешено.

Начертание зверя

Ноябрь тридцать девятого. Холодный ветер гонит по дорожкам ботанического сада сухие платановые листья. Мари-Лора перечитывает «Двадцать тысяч лье под водой»: «*Над нами развевались длинные космы фукусов, то шарообразные, то трубчатые, лауренсии, тонколистные кладостефы*», неподалеку от ворот на улицу Кювье. Мимо, пиная шуршащие листья, проходит компания детей.

Мальчишеский голос что-то произносит, другие ребята смеются. Мари-Лора отрывает пальцы от книги. Смех ближе, громче. Внезапно первый голос раздается прямо над ухом:

– Немцы обожают слепых девчонок!

Дыхание у него частое. Мари-Лора поднимает руку, но там лишь воздух.

Она не знает точно, сколько с ним мальчишек. Трое или четверо, наверное. Судя по голосу, ему лет двенадцать-тринадцать. Мари-Лора встает, прижимая тяжелую книгу к груди, и слышит, как трость катится по скамейке и падает на землю.

Другой голос произносит:

– Наверное, слепых девчонок заберут еще раньше, чем калек.

Первый мальчишка издевательски стонет. Мари-Лора поднимает книгу, словно надеясь закрыться.

Второй мальчишка говорит:

– Заставят их делать всякое.

– Гадкое.

Взрослый голос издали зовет:

– Луи, Пьер!

– Кто вы? – шепчет Мари-Лора.

– Пока, слепая девчонка.

И тишина. Мари-Лора слушает, как шелестят деревья. Кровь у нее бурлит. Несколько долгих панических минут она ползает на четвереньках вдоль скамейки, ища трость.

В магазинах продают противогазы. Соседи заклеивают окна картоном. В музее с каждой неделей все меньше посетителей.

– Папа, – спрашивает Мари-Лора, – если начнется война, то что будет с нами?

– Не начнется.

– А если все-таки?

Его рука лежит на ее плече, ключи на поясе привычно позвякивают.

– И тогда у нас тоже все будет хорошо, *ma chérie*. Директор уже оформил мне бронь. Меня не призвуют.

Однако она слышит, как нервно он листает газету: торопливо, с хрустом переворачивая листы. Курит сигарету за сигаретой, работает почти без передышки. Неделя идет за неделей. Деревья облетели, и отец уже не зовет Мари-Лору прогуляться по саду. Ах, если бы только у них была непробиваемая подводная лодка, вроде «Наутилуса»!

В открытое окно ключной влетают прокуренные голоса секретарш:

– Они забираются по ночам в квартиры. Минируют буфеты, унитазы, бюстгальтеры. Откроешь ящик комода – оторвет пальцы.

Мари-Лоре снятся кошмары. Немцы бесшумно гребут в лодках по Сене, скользят словно по маслу, проносятся под мостами. У них звери на цепи; эти звери выпрыгивают из лодок и несутся мимо клумб, вдоль живых изгородей. Нюхают воздух у лестницы в Большую галерею. Из пастей капает слюна. Звери врываются в музей, бегут по кабинетам. Окна чернеют от крови.

* * *

Уважаемый профессор!

Я не знаю дойдет ли это письмо и передаст ли вам его радиостанция и вообще есть ли радиостанция. Мы не слышим вас уже два месяца. Вы больше не передаете или дело в нас? В Бранденбурге построили новую радиовышку Дойчландзендер-3. Брат говорит в ней триста тридцать метров и это второе по высоте здание в мире. Она заглушает практически все. Старая фрау Штресман говорит что слышит передачи Дойчландзендер пломбами в зубах. Брат говорит это можно если есть антенна и детектор и что-нибудь что будит динамиком. Он говорит можно принимать радио сигналы проволоочной изгородью и может серебро в пломбах тоже их принимает. Мне интересно про это думать. А вам профессор? Песни в пломбах! Фрау Елена говорит нам сразу после школы идти домой. Она говорит не потому что евреи а потому что бедные но они тоже очень опасные. Теперь слушать иностранную радиостанцию это преступление. За него могут отправить на тяжелые работы. Ломать камень по пятнадцать часов в день или делать нейлоновые чулки или спускаться в шахты. Никто не поможет мне отправить это письмо даже брат поэтому я отправлю его сама.

Добрый вечер. Или хайль Гитлер, если предпочитаете

В мае ему исполняется четырнадцать. Сороковой год, над гитлерюгендом никто больше не смеется. Фрау Елена готовит пудинг, Ютта заворачивает в газету кусок кварца, близняшки Ханна и Сусанна Герлиц маршируют по кухне, играя в солдат. Пятилетний Рольф Гупфауэр сидит в уголке дивана, глаза у него сонно закрываются. Новенькая полугодовалая девочка у Ютты на коленях беззубыми деснами жует ее палец. Сквозь занавеску виден далекий огненный факел над фабричной трубой, он дрожит и колыхается.

Дети поют, потом съедают пудинг. Фрау Елена говорит: «Пора ложиться», и Вернер выключает приемник. Все молятся. Неся приемник в спальню, Вернер чувствует тяжесть во всем теле. Снаружи пятнадцатилетние подростки бредут к шахте, выстраиваются перед воротами в касках с фонарями. Он пытается вообразить их спуск в клетки, мелькание редких огоньков, скрип тросов, молчание, с которым они уходят в вечный мрак, где люди вгрызаются в угольный пласт под нависшей шестисотметровой толщиной скальной породы.

Еще год. Потом ему дадут каску с фонарем и запихнут его в клеть вместе с другими.

Уже много месяцев Вернер не слышал француза на коротких волнах. Год назад последний раз держал в руках покоробленные от сырости «Принципы механики». Еще не так давно он позволял себе грезить о Берлине с тамошними великими учеными. Фрицем Габером, придумавшим синтетические удобрения, Германом Штаудингером, изобретателем пластмассы, Герцем, сделавшим невидимое видимым. Всеми великими учеными, совершающими там открытия. «Я в тебя верю, – говорила фрау Елена. – Я думаю, ты совершишь что-нибудь великое». Теперь, в страшных снах, он идет по штольням. Кровля черная, гладкая, от нее откалываются плиты и повисают у него над головой. Стены трескаются. Вернер пригибается, но кровля все ниже, и он ползет. Скоро он уже не может поднять голову, шевельнуть рукой. Кровля весит десять миллиардов тонн, она леденит тело, вжимает его носом в пол. Перед самым пробуждением Вернер чувствует, что ему раздавило череп.

Ливень стучит по крыше. Вернер прижимается лбом к стеклу и смотрит сквозь струи. Внизу – мокрые крыши, много мокрых крыш, а за ними – длинные стены коксохимического комплекса, металлургического комбината, газового завода и черный силуэт надшахтного копра. Шахты и заводы тянутся вдаль, сколько хватает глаз, и дальше, к поселкам и городам, ко все ускоряющейся и растущей машине по имени Германия. И к миллионам людей, готовым отдать за нее жизнь.

Добрый вечер, думает Вернер. Или хайль Гитлер. Все предпочитают последнее.

Пока, слепая девчонка

Про войну говорят уже без вопросительного знака. Сотрудникам музея раздают служебные указания. Коллекции надо спасти. Небольшой штат курьеров начинает перевозить экспонаты в сельские усадьбы. Спрос на ключи и замки больше обычного. Отец Мари-Лоры работает до полуночи, до часу. На каждый ящик нужен замок, каждую опись надо убрать в надежное место. Грохочут бронированные грузовики. Нужно спрятать окаменелости и древние рукописи, жемчуг, золотые самородки, сапфир размером с мышь. И возможно, думает Мари-Лора, Море огня.

В каком-то смысле весна кажется спокойной – теплой и мягкой. Ночи благоуханны и безветренны. И тем не менее во всем чувствуется напряжение, словно город стоит на воздушном шарике, который кто-то надувает, так что он вот-вот лопнет.

Над цветочными бордюрами в ботаническом саду снуют пчелы. С платанов сыплются бархатистые орешки, скапливаются на дорожках шуршащими ворохами.

Если они перейдут в наступление, с какой стати им переходить в наступление, наступление было бы безумием.

Отступить – значит спасти человеческие жизни.

У ворот музея появляются мешки с песком. Два солдата на крыше Палеонтологической галереи смотрят в бинокли на сад. Однако чаша небес остается чистой – ни цеппелинов, ни бомбардировщиков, ни десантников-суперменов, лишь последние певчие птицы возвращаются из южных стран да юркие весенние ветерки наливаются зеленой тяжестью лета.

Слухи, свет, воздух. Нынешний май – самый прекрасный на памяти Мари-Лоры. Утром ее двенадцатого дня рождения на месте сахарницы нет ожидаемой коробочки-головоломки; у отца не хватило времени. Зато есть книга – второй брайлевский том «Двадцати тысяч лье под водой», толстый, как диванная подушка.

От подушечек пальцев по всему телу проходит дрожь.

– Как...

– На здоровье, Мари.

Стены квартиры дрожат: соседи двигают мебель, пакуют чемоданы, заколачивают окна. На входе в музей отец спокойно говорит сторожу:

– Говорят, мы удерживаем реку.

Мари-Лора садится на пол ключной и открывает книгу. К концу первой части профессор Аронакс проделал лишь шесть тысяч лье. Осталось еще четырнадцать. Однако происходит что-то странное: слова не складываются. Мари-Лора читает: «В этот день нашу свиту составляла грозная армада акул», но логика, которая вроде бы должна связывать одно слово с другим, ускользает.

Кто-то спрашивает:

– Директор уехал?

Кто-то другой отвечает:

– Уедет до конца недели.

Отцовская одежда пахнет соломой, от его пальцев воняет смазкой. Работа, работа, работа, несколько часов сна, и на заре снова в музей. Грузовики увозят заспиртованных осьминогов в банках, скелеты, метеориты, гербарии, египетское золото, южноафриканскую слоновую кость и триасовые окаменелости.

Первого июня над городом пролетают самолеты, высоко-высоко, сквозь перистые облака. Когда рядом не рычит мотор, Мари-Лора, стоя перед Большой галереей, может различить их гудение в миле над собой. На следующий день начинают умолкать радиостанции. Сторожа в своей каморке стучат по приемнику, наклоняют его так и этак, но из динамика

доносится только хрип помех. Как будто все радиорелейные вышки – свечи, и кто-то затушил их пальцами.

В те последние парижские ночи, когда Мари-Лора, прижимая к груди книгу, за полночь возвращается домой вместе с отцом, ей кажется, что в паузах между стрекотом насекомых она различает дрожание воздуха – как будто лед идет тонкими трещинками под чем-то слишком тяжелым. Как будто все это время город был лишь макетом отцовской работы, а теперь его накрыла тень огромной руки.

Она ведь думала, что будет жить с отцом в Париже до конца жизни. Что всегда будет сидеть после обеда с доктором Жеффаром. Что каждый день рождения папа будет дарить ей коробочку-головоломку и новую книгу, что она прочтет всего Жюль Верна и всего Дюма, а может быть, даже Бальзака и Пруста. Что вечерами папа всегда будет мурлыкать себе под нос, мастера крохотные домики. Что она всегда будет знать, сколько шагов до булочной (сорок) или до ресторанчика (тридцать два), а утром в сахарнице всегда будет сахар для кофе.

Бонжур, бонжур.

Картошка на шести часах, Мари, шампиньоны на трех.

А теперь? Что будет теперь?

Вязание носков

Вернер просыпается после полуночи и видит, что одиннадцатилетняя Ютта сидит на полу рядом с его кроватью. На коленях у сестры коротковолновый приемник, рядом лист бумаги с неоконченным рисунком – многооконным городом ее фантазий.

Ютта отнимает от уха наушник и щурится. В сумерках копна ее волос кажется светлее обычного – будто зажженная спичка.

– В Союзе девочек, – шепчет она, – нас заставляют вязать носки. Зачем столько носков?

– Наверное, рейху нужны носки.

– Зачем?

– Для ног, Ютта. Для солдат. Не мешай мне спать.

И тут, словно нарочно, младший мальчик – Зигфрид Фишер – на первом этаже кричит один раз, затем второй. Вернер и Ютта ждут, пока фрау Елена спустится по лестнице, успокоит его и в доме вновь воцарится тишина.

– Тебе интересны только математические задачки, – шепчет Ютта. – И радиоприемники. Разве ты не хочешь понимать, что происходит?

– Что ты слушаешь?

Ютта прижимает наушник к уху, складывает руки на груди и не отвечает.

– Ты слушаешь что-то, чего слушать нельзя?

– А тебе-то что?

– Это опасно, вот что.

Она зажимает пальцем другое ухо.

– Остальные девочки всем довольны, – шепчет он. – Им нравится вязать носки, собирать макулатуру и все такое.

– Мы бомбим Париж, – говорит Ютта громко.

Вернер еле перебарывает желание заткнуть ей рот рукой.

Ютта вызывающе смотрит на него. Кажется, будто какой-то невидимый сквозняк дует ей в лицо.

– Вот что я слушаю, Вернер. Наши самолеты бомбят Париж.

Бегство

По всему Парижу люди упаковывают фарфор и убирают его в чуланы, зашивают жемчуг в одежду, прячут золотые кольца в книжных переплетах. Из музейных кабинетов забрали пишущие машинки. Залы превратились в упаковочные дворы, полы усыпаны соломой, опилками, кусками шпагата.

В полдень мастера вызывают в директорский кабинет. Мари-Лора сидит по-турецки на полу ключной и пытается читать свою книгу. Капитан Немо собирается вести профессора Аронакса и его спутников на подводную прогулку за жемчугом, но Аронакс боится акул, и, хотя Мари-Лоре хочется знать, что будет дальше, предложения на странице рассыпаются. Слова дробятся на буквы, буквы – на непонятные бугорки. Как будто у нее обе руки в толстых варежках.

Внизу, на вахте, сторож крутит настройку приемника, но слышны только хрипы и треск. Наконец он выключает приемник совсем, и на музей опускается тишина.

Вот бы это была головоломка, сложная игрушка, которую смастерил папа, задачка, которую можно решить. Первая дверь – кодовый замок. Вторая – щеколда. Третья откроется, если шепнуть в замочную скважину волшебное слово. Проползти через тринадцать дверей, и все снова будет хорошо.

В городе колокол на церкви бьет час. Затем половину. Папа все не возвращается. В какой-то момент по музею прокатываются несколько отчетливых ударов. Они идут из сада или с улицы, словно кто-то сбросил с облаков несколько мешков цемента. При каждом ударе в шкафах звенят тысячи ключей.

Коридор как вымер – ни шагов, ни голосов. Вторая серия толчков – ближе, сильнее. Ключи звенят громче, пол скрипит, и Мари-Лора вроде бы чувствует запах сыплющейся с потолка пыли.

– Папа?

Молчание. Ни сторожей, ни уборщиц, ни плотников, ни частого стука секретарских каблуков.

Они могут сутками маршировать без еды. Они заделывают детей каждой школьнице, которую встретят.

– Эй!

Как пугающе быстро коридор поглощает звук ее голоса!

Через мгновение слышны шаги, звон ключей и папин голос, зовущий ее по имени. Все происходит очень быстро. Он выдвигает большие низкие ящики шкафа, бренчит десятками связок ключей.

– Папа, я слышала...

– Поторопись.

– Моя книга...

– Лучше оставить ее здесь. Она слишком тяжелая.

– Оставить книгу?

Отец вытаскивает ее за дверь и запирает ключную. Снаружи волны паники расходятся по рядам деревьев, словно отголоски землетрясения.

– Где сторож? – спрашивает папа.

Голоса возле тротуара: солдаты.

У Мари-Лоры в голове все путается. Это гул самолетов? Пахнет дымом? Кто-то говорит по-немецки?

Отец перебрасывается несколькими словами с кем-то незнакомым и отдает ему ключи. Потом они выходят через ворота на улицу Кювье, пробираются между мешками с песком, или безмолвными полицейскими, или чем-то еще, недавно появившимся на тротуаре.

Шесть кварталов, тридцать восемь канализационных решеток. Мари-Лора пересчитывает их все. Из-за фанеры, которой отец забил окна, в квартире душно и жарко.

– Подожди немного, Мари-Лора. Потом я все объясню.

Отец запихивает что-то куда-то. Наверное, в свой холщовый рюкзак. Кажется, еду. Мари-Лора пытается определить по звукам. Кофе. Сигареты. Хлеб?

Что-то снова бухает, дребезжат стекла. В буфете звенит посуда. Мари-Лора подходит к макету и проводит пальцами по домам. Все на месте. Все на месте. Все на месте.

– Сходи в уборную, Мари.

– Мне не надо.

– Потом может долго не быть возможности.

Он надевает на нее зимнее пальто, хотя сейчас середина июня, и они быстро спускаются по лестнице. На рю-де-Патриарш Мари-Лора слышит далекий топот, словно идут тысячи людей. Она шагает рядом с отцом: в одной руке трость, другая держится за его рюкзак. Все начисто лишено логики, как в страшном сне.

Направо, налево. Между поворотами – длинные отрезки мостовой. Скоро они уже идут по улицам, где Мари-Лора точно никогда не бывала, далеко за пределами папиного макета. Она уже давно не считает удары палкой. Наконец они оказываются в толпе, такой плотной, что Мари-Лора чувствует идущий от людей жар.

– В поезде будет прохладней, Мари. Директор раздобыл нам билеты.

– А можно уже идти в поезд?

– Ворота закрыты.

От толпы тошнотворно разит волнением.

– Мне страшно, папа.

– Держись за меня крепче.

Он ведет ее куда-то в другую сторону. Они переходят шумную улицу и попадают в проулок, где пахнет, как в мокрой канаве. У отца в рюкзаке побрякивают инструменты, вдали безостановочно гудят автомобильные клаксоны.

Через минуту они снова утыкаются в толпу. Голоса эхом отражаются от высоких стен, пахнет мокрой одеждой. Кто-то выкликает имена в громкоговоритель.

– Где мы, папа?

– На вокзале Сен-Лазар.

Детский плач. Запах мочи.

– Здесь немцы?

– Нет, *ma chérie*.

– Но скоро будут здесь?

– Говорят, что да.

– А что мы будем делать, когда они придут?

– К тому времени мы уже будем в поезде.

Справа визжит ребенок. Мужчина дрожащим голосом просит толпу расступиться. Рядом женщина надрывно повторяет: «Себастьян? Себастьян?» – снова и снова.

– Уже ночь?

– Только-только начало смеркаться. Давай отдохнем. Не разговаривай, береги силы.

Кто-то говорит:

– Вторая армия разбита, Девятая в окружении.

Кто-то отвечает:

– Мы не выстоим.

Чемоданы скребут по плитам, тьякают собачонки, кондукторы свистят в свистки, какая-то большая машина чихает, заводясь, потом умолкает. Мари-Лора силится успокоить сосущую боль под ложечкой.

– Но у нас же билеты! – кричит кто-то позади.

Шорох переступающих ног. Истерика волнами прокатывается по толпе.

– Как это выглядит, папа?

– Что, Мари?

– Вокзал. Ночь.

Щелкает зажигалка. Мари-Лора слышит, как папа затягивается, чувствует запах сигаретного дыма.

– Попробую рассказать. Во всем городе темно. Уличные фонари и окна не горят. Иногда в небе движутся лучи прожекторов. Ищут самолеты. Вот женщина в халате. А у другой в руках стопка тарелок.

– А что армия?

– Армии больше нет, Мари.

Он находит рукой ее ладонь. Страх немного успокаивается. По водосточной трубе бегут струйки дождя.

– А сейчас что мы делаем, папа?

– Надеемся сесть на поезд.

– А что делают все остальные?

– Тоже надеются.

Герр Зидлер

Стук в дверь во время комендантского часа. Вернер и Ютта вместе с другими детьми делают уроки за длинным деревянным столом. Фрау Елена, прежде чем открыть дверь, прикалывает к лацкану партийный значок.

В дом входит мокрый от дождя ефрейтор. У него на поясе пистолет, на левой руке повязка со свастикой. Вернер думает про коротковолновый приемник, упрятанный в старую деревянную аптечку под его кроватью. Он думает: *они знают*.

Ефрейтор оглядывает комнату: чугунную печку, развешанное белье, щуплых детей – с равной долей враждебности и снисходительности. Его черный пистолет как будто втягивает в себя весь свет.

Вернер украдкой косится на сестру. Та неотрывно глядит на гостя. Ефрейтор берет со стола книгу – детскую, про говорящий паровозик, – и тщательно перелистывает. Затем говорит что-то очень тихо – Вернер не может разобрать слов.

Фрау Елена складывает руки под фартуком, и Вернер понимает, что она силится унять дрожь.

– Вернер, – произносит фрау Елена медленным, как будто сонным, голосом, не отрывая глаз от ефрейтора, – этот человек говорит, что у него сломался приемник и надо...

– Возьми свои инструменты, – перебивает ефрейтор.

На улице Вернер оглядывается только один раз: лоб и ладони Ютты прижаты к оконному стеклу. Она против света и далеко, так что выражения не разглядеть. Потом дождевые струи окончательно ее скрывают.

Вернер в два раза ниже ефрейтора и на один его шаг вынужден делать два. Они проходят мимо караульного у ведомственных домов, где живет шахтное начальство. Косые струи дождя блестят в свете фонарей. Немногие встречные уступают ефрейтору дорогу.

Вернер не задает вопросов. С каждым ударом сердца он чувствует острое желание бежать.

Они подходят к самому большому дому – к дому, который Вернер видел тысячу раз, но к которому ни разу не подходил так близко. С подоконника верхнего этажа свисает большое, вымокшее от дождя красное знамя со свастикой посередине.

Ефрейтор стучит в заднюю дверь. Горничная в платье с завышенной талией забирает у них верхнюю одежду, умело стряхивает воду, вешает на вешалку с бронзовой подставкой. Из кухни пахнет пирогами.

Ефрейтор проводит Вернера в столовую, где в кресле листает журнал узколицая женщина с тремя свежими маргаритками в волосах.

– Два мокрых гуся, – говорит она и поднимает голову от журнала, но не предлагает им сесть.

Ботинки Вернера утопают в густом красном ковре, в люстре над столом горят электрические лампочки, по обоям вьются розы. В камине тлеют угли. На всех четырех стенах – ферротипы насупленных предков. Значит, сюда забирают мальчиков, чьи сестры слушают иностранные радиостанции? Женщина переворачивает страницы журнала, одну за другой. Ноги у нее выкрашены ярко-розовым лаком.

По лестнице спускается мужчина в удивительно белой рубашке.

– Господи, какой же он маленький! – говорит мужчина ефрейтору. – Так это ты знаменитый радиомастер?

У него густые черные волосы, словно приклеенные лаком к голове.

– Рудольф Зидлер, – представляется он и движением подбородка отпускает ефрейтора.

Вернер пытается выдохнуть. Герр Зидлер застегивает запонки на манжетах и оглядывает себя в мутном зеркале. Глаза у него голубые-голубые.

– Да, не очень-то ты разговорчив. А вот непослушный приемник. – Он указывает на большой американский «Филко» в соседней комнате. – Его уже двое смотрели. А потом мы услышали про тебя. Стоит попробовать, верно? Она, – он кивает в сторону женщины, – очень хочет услышать свою программу. И выпуски новостей, конечно.

Зидлер произносит это так, что Вернер понимает – женщине совершенно неинтересны новости. Она не поднимает головы. Зидлер улыбается, словно говоря: «Мы-то с тобой, сынок, знаем, что новости – это еще далеко не все». У него очень маленькие зубы.

– Работай спокойно, спешить некуда.

Вернер садится перед приемником на корточки и пытается успокоить нервы. Включает его, ждет, пока не прогреются лампы, потом аккуратно крутит ручку настройки, двигаясь по шкале справа налево. Потом обратно. Тишина.

Ничего подобного Вернеру еще трогать не доводилось. Наклонная передняя панель, автоподстройка, размеры – с небольшой холодильник. Десятиламповый всеволновый супергетеродин, корпус из светлого и темного орехового дерева, гравированные накладки. Две антенны – коротковолновая и широкополосная. Этот приемник стоит больше, чем всё в сиротском доме, вместе взятое. Герр Зидлер может, если захочет, ловить передачи из Африки.

Зеленые и красные корешки книг по стенам. Ефрейтор ушел. В соседней комнате герр Зидлер стоит в озерце света под лампой, говорит по черному телефону.

Никто не собирается Вернера арестовывать. Его просто вызвали починить радио.

Вернер снимает заднюю стенку и заглядывает внутрь. Все лампы работают, всё вроде бы на месте. «Хорошо, – шепчет он про себя. – Думай». Сидит по-турецки, изучает схему. Мужчина, женщина, книги, дождь – все отступает, остаются только радио и проводки в нем. Вернер пытается вообразить пути электронов как дорогу в густонаселенном городе: здесь входит РЧ-сигнал, проходит через усилительные каскады, попадает на переменные конденсаторы, затем на трансформаторные катушки...

И тут Вернер видит: обрыв на одном из проволочных резисторов. Он смотрит вверх приемника – слева женщина читает журнал, справа герр Зидлер говорит по телефону, время от времени проводя пальцами по складке на полосатых брюках, чтобы она была четче.

Как два человека могли просмотреть такую элементарную поломку? Просто подарок! Так легко. Вернер разматывает обмотку, сращивает проволоку и вставляет резистор на место. Затем включает приемник, почти ожидая, что тот сейчас займется огнем, и вместо этого слышит хрипловатый голос саксофона.

Женщина за столом откладывает журнал и упирается всеми десятью пальцами в щеки. Вернер встает из-за радиоприемника. Мгновение у него в голове нет ничего, только ощущение торжества.

– Он починил приемник силой мысли! – восклицает женщина.

Герр Зидлер прикрывает рукой телефонную трубку и оборачивается.

– Сидел тихо, как мышка, и думал, а через полминуты приемник заработал! – Женщина вскидывает на маникюрные пальцы и заливается детским смехом.

Герр Зидлер вешает трубку. Женщина идет в гостиную, встает перед приемником на колени – она без чулок и туфель, из-под подола юбки видны гладкие белые икры. Крутит настройку. Треск, затем веселая музыка. У приемника живой, насыщенный звук – Вернер впервые такой слышит.

Женщина ойкает и снова смеется.

Вернер собирает свои инструменты. Герр Зидлер стоит перед приемником и, кажется, хочет погладить Вернера по голове. «Поразительно», – говорит он, затем усаживает Вернера за стол и кричит горничной, чтобы та подала торт. Его приносят сразу: четыре куса на глад-

кой белой тарелке. Каждый посыпан сахарной пудрой и украшен взбитыми сливками. Вернер смотрит ошарашенно, герр Зидлер смеется.

– Знаю, сливки запрещены, но... – он подносит палец к губам, – есть способы обойти запреты. Угощайся.

Вернер берет кусок торта. Пудра сыплется ему на подбородок. В соседней комнате женщина крутит настройку, из динамика вещают голоса. Она некоторое время слушает, стоя на коленях перед радио, потом хлопает в ладоши. Со стен смотрят строгие лица ферротипов.

Вернер съедает первый кусок торта, потом второй, затем берется за третий. Герр Зидлер наблюдает за ним, склонив голову набок, слегка улыбается и явно о чем-то думает.

– Что это ты такой зашуганный? Да еще волосы дыбом. Твой отец кем работает?

Вернер мотает головой.

– Ну да, конечно. Сиротский дом. Извини, не сообразил. Бери еще торта. И сливок положи побольше.

Женщина снова хлопает в ладоши. У Вернера громко бурчит в животе. Он чувствует на себе взгляд герра Зидлера.

– Многие считают, что должность здесь, на шахте, маловажная, – говорит герр Зидлер. – Спрашивают: «Разве ты не предпочел бы место в Берлине? Во Франции? Не хотел бы командовать на фронте, видеть, как солдаты идут в атаку, подальше от всей этой... – он машет рукой на окно, – копоты?» А я отвечаю им, что нахожусь в центре всего. Что отсюда идут уголь и сталь. Что это – горнило страны.

Вернер прочищает горло:

– Мы действуем в интересах мира. – Это дословная фраза, которую они с Юттой слышали по Дойчландзендер три дня назад. – Мы действуем в интересах человечества.

Герр Зидлер смеется, и Вернер вновь замечает, как много у того зубов и какие они мелкие.

– Знаешь, в чем главный урок истории? В том, что ее пишут победители. Кто победит, тот скажет, что и как было. Мы действуем в наших собственных интересах. Назови мне человека или народ, который поступает иначе. Хитрость в том, чтобы понять, в чем состоит наш интерес.

Остался один кусок торта. Радио тихонько звучит, женщина смеется. Герр Зидлер, решает Вернер, совсем не похож на его соседей – людей с вечно настороженным лицом, привыкших каждое утро провожать близких в шахты. У герра Зидлера лицо чистое и спокойное; он полностью уверен в своих привилегиях. А в четырех метрах отсюда стоит на коленях женщина с накрашенными ногтями и белыми гладкими икрами. Вернер никогда не видел таких женщин – как будто они с нею живут на разных планетах. Как будто она вышла из приемника «Филко».

– Отлично управляешься с инструментами, – продолжает герр Зидлер. – Смышлен не по летам. Есть место для таких, как ты. Школы генерала Хайссмайера¹¹. Лучшие из лучших. Там изучают инженерные науки. Шифрование, реактивные двигатели, все самое современное.

Вернер не знает куда спрятать глаза:

– У нас нет денег.

– Тем-то и замечательны эти учреждения. Они набирают ребят из рабочих семей. Не испорченных, – герр Зидлер хмурится, – бюргерской шелухой. Кинематографом и всем таким. Им нужны упорные мальчишки. Мальчишки с исключительными способностями.

– Да, герр Зидлер.

¹¹ *Август Хайссмайер* (1897–1979) – начальник Главного управления СС, генеральный инспектор учреждений национал-политического образования (НАПОЛАС).

– С исключительными способностями, – повторяет он, обращаясь как будто к самому себе. Потом негромко свистит.

Возвращается ефрейтор с каской в руке, косится на оставшийся кусок торта и тут же отводит глаза.

– В Эссене работает приемная комиссия, – говорит герр Зидлер. – Я напишу тебе рекомендательное письмо. И на, возьми.

Он дает Вернеру семьдесят пять марок, тот как можно быстрее прячет купюры в карман.

– Как будто они ему руки жгут! – смеется ефрейтор.

Внимание герра Зидлера занято другим.

– Я напишу Хайссмайеру письмо, – продолжает он. – Полезно для нас, полезно для тебя. Мы действуем в интересах человечества, верно?

Он подмигивает. Затем ефрейтор выписывает Вернеру пропуск с разрешением находиться на улице во время комендантского часа и провожает его до двери.

Вернер идет домой, не замечая дождя, и пытается осознать enormность происшедшего. Девять цанпель стоят на канале рядом с коксохимическим заводом, словно цветы. Уныло гудит баржа, снуют вагонетки с углем, в темноте отдается мерный звук буксирной лебедки.

В сиротском доме все дети уже в постелях. Фрау Елена сидит с грудой стиранных носков на коленях, на полу рядом с нею бутылка хереса. Позади за столом Ютта, смотрит на Вернера наэлектризованным взглядом.

– Что ему было нужно? – спрашивает фрау Елена.

– Всего лишь починить радиоприемник.

– И ничего больше?

– Ничего.

– Тебе задавали вопросы? Про тебя? Про других детей?

– Нет, фрау Елена.

Фрау Елена шумно выдыхает, как будто за последние два часа ни разу не перевела дух.

– *Dieu merci*¹². – Она обеими руками трет виски и говорит: – Можешь идти спать, Ютта. Ютта медлит.

– Я его починил, – говорит Вернер.

– Ты молодец, Вернер. – Фрау Елена отпивает большой глоток хереса. Глаза у нее закрываются, голова запрокидывается. – Мы оставили тебе ужин.

Ютта неуверенно идет к лестнице.

В кухне все выглядит облезлым и закопченным. Фрау Елена приносит тарелку с разрезанной пополам вареной картошкой.

– Спасибо, – говорит Вернер.

Во рту у него все еще стоит сладость торта. Маятник старых напольных часов качается взад-вперед. Торт, взбитые сливки, розовые ногти и длинные икры фрау Зидлер – впечатления каруселью кружатся у Вернера в голове. Он вспоминает, как возил Ютту на тележке к шахте номер девять, где пропал их отец, – вечер за вечером, как будто отец может оттуда выйти.

Свет, электричество, эфир. Время, пространство, масса. «Принципы механики» Генриха Герца. Знаменитые школы Хайссмайера. *Шифрование, реактивные двигатели, все самое современное.*

«Откройте глаза, – говорил француз по радио, – и спешите увидеть что можете, пока они не закрылись навеки»

– Вернер?

¹² Слава богу! (фр.)

– Да, фрау?

– Ты что, не голоден?

Фрау Елена ему почти что мать, никого ближе у него не будет. Вернер ест, хотя ему и не хочется. Потом отдает ей семьдесят пять марок. Она изумленно моргает, увидев сумму, и возвращает ему пятьдесят.

У себя на чердаке Вернер дожидается, пока фрау Елена не сходит в уборную и не ляжет, и тогда дом вновь погрузится в полную тишину. Считает до ста. Затем встает, вытаскивает из аптечки свой старый приемник со всеми усовершенствованиями, новым соленоидом, Юттинскими пометками на катушке настройки – выносит его в улочку за домом и разбивает кирпичом.

Исход

Парижане продолжают напирать на ворота. К часу ночи жандармы уже не могут сдерживать толпу. За последние четыре часа не пришел и не ушел ни один поезд. Мари-Лора спит, положив голову на отцовское плечо. Ключный мастер не слышит ни гудков, ни лязга сцепляемых вагонов. На рассвете он решает, что лучше идти пешком.

Они идут все утро. Париж постепенно редет, превращаясь в низенькие дома и магазинчики, разделенные длинными полосами деревьев. Полдень застает их в заторе машин на новой автомобильной дороге у Вокрессона, больше чем в десяти километрах от их квартиры. Мари-Лора еще никогда не бывала так далеко от дому.

На вершине невысокого холма ее отец оглядывается: череда машин до самого горизонта. Грузовики и фургоны, новый двенадцатицилиндровый автомобиль с матерчатым верхом зажат между повозками, в которые запряжены мулы. Есть машины с деревянными осями. У некоторых легковушек на крыше привязана мебель. У некоторых кончился бензин. Несколько тянут прицепы, заставленные клетками с курами и поросятами, рядом бредут коровы, сквозь лобовые стекла смотрят собаки.

Все это движется немногим быстрее пешехода. Запружены обе полосы: все ползут на запад, прочь от города. Дама на велосипеде сплошь обвешана бижутерией. Мужчина толкает тачку с кожаным креслом, на сиденье умывается черный котенок. Женщины катят детские коляски с сервизами, птичьими клетками, подушками. Человек в смокинге кричит: «Ради бога, дайте дорогу!» – но никто его не пропускает.

Мари-Лора, с тростью в руке, прижимается к отцу. На каждом шагу в воздухе рядом с нею возникают бестелесные вопросы: «Долго еще до Сен-Жермена?», «Тетя Луиза, когда мы будем обедать?», «У кого есть бензин?» Она слышит, как мужья кричат на жен, слышит, что впереди ребенка задавило грузовиком. Три самолета проносятся в небе громко, быстро и низко. Люди пригибаются, некоторые кричат, некоторые спрыгивают в канаву и зарываются лицом в траву.

К сумеркам они уже западнее Версаля. У Мари-Лоры пятки стерты в кровь, чулки порвались, через каждую сотню шагов она спотыкается. Когда она говорит, что не может идти дальше, отец на руках выносит ее с дороги, бредет по цветущей горчице и выходит на луг метрах в двухстах от деревенского дома. Луг скошен только наполовину, сено не собрано в стога. Как будто крестьянин сбежал, бросив работу на середине.

Мастер достает из рюкзака батон и белые сосиски. Они тихо едят, потом он кладет ноги Мари-Лоры себе на колени. В полутьме на востоке смутно различаются ряды машин, слышно бляенье клаксонов. Кто-то кого-то зовет – наверное, потерявшегося ребенка. Ветер уносит крики.

– Что-то горит, папа?

– Нет.

– Я чувствую запах дыма.

Он снимает с нее чулки, осматривает мозоли. Ее ступни в его руках легкие, как птички.

– Что это за звук?

– Кузнечики.

– Темно?

– Смеркается.

– Где мы будем спать?

– Здесь.

– А кровати тут есть?

– Нет, *ma chérie*.

- Куда мы идем, папа?
 - Директор дал мне адрес человека, который нам поможет.
 - Это где?
 - В городе под названием Эврё. Мы должны найти там мсье Жанно. Он друг музея.
 - А далеко до Эврё?
 - Пешком мы будем добираться туда года два.
- Она стискивает его руку.
- Я шучу, Мари. Эврё совсем близко. Если нас подвезут, будем там завтра. Вот увидишь.

Секунд десять она заставляет себя молчать. Потом спрашивает:

- А сейчас?
 - А сейчас мы будем спать.
 - Без постелей?
 - На сене. Тебе должно понравиться.
 - В Эврё у нас будут постели?
 - Думаю, да.
 - А что, если он не захочет нас приютить?
 - Захочет.
 - А если все-таки нет?
 - Тогда мы поедem к моему дяде. К твоему двоюродному дедушке. В Сен-Мало.
 - К дяде Этьену? Ты же говорил, что он сумасшедший.
 - Отчасти да. Сумасшедший процентов на семьдесят шесть.
- Она не смеется.
- Далеко до Сен-Мало?
 - Хватит вопросов, Мари. Мсье Жанно приютит нас в Эврё. Уложит на большие мягкие кровати.

- А много у нас еды, папа?
- Пока есть. Ты еще голодная?
- Наоборот. Я хочу поберечь еду.
- Вот и хорошо. Давай беречь еду. Лежи тихо и отдыхай.

Она ложится на спину. Он снова закуривает. Осталось шесть сигарет. Летучие мыши стремительно проносятся сквозь облака мошки, мошка разлетается и вновь собирается в клубы. «Мы – мыши, – думает он, – а небо кишит ястребами».

- Ты очень храбрая, Мари-Лора.

Девочка уже уснула. Сумерки сгущаются. Докурив, он спускает дочкины ноги на землю, накрывает ее своим пальто и открывает рюкзак. Ощупью находит ящичек с инструментами. Тут пилки, стамески, надфили, штихели, мелкая шкурка. Многие еще дедовы. Из-под подкладки ящичка вытаскивает плотный холщовый мешочек. Развязывает шнурок и вытряхивает содержимое себе на ладонь.

Это камень размером с каштан. Даже в такой поздний час, в полумраке, он сияет голубым, странно холодным светом.

Директор сказал, будут три обманки. Вместе с настоящим, выходит, четыре камня. Один останется в музее. Три отправят в разных направлениях. Первый – на юг с молодым геологом. Второй на север с начальником охраны. И третий – на запад в ящичке с инструментами Даниэля Леблана, главного ключевого мастера Национального музея естествознания.

Три подделки. Один настоящий. Лучше, если никто не будет знать, подлинный у него камень или фальшивка. И каждый, добавил директор, серьезно глядя на них, должен вести себя так, будто настоящий алмаз – у него.

Ключный мастер уверяет себя, что у него – фальшивка. Не стал бы директор отдавать простому работнику бриллиант в сто тридцать три карата. И все же, глядя на камень, он не может отделаться от вопроса: «А что, если?..»

Он оглядывает луг. Деревья, небо, сено. Бархатистый сумрак. Уже зажглось несколько бледных звездочек. Мари-Лора мерно дышит во сне. *Каждый должен вести себя так, будто настоящий алмаз – у него.* Мастер убирает камень в мешочек, прячет обратно в рюкзак и ощущает его крохотный вес, как узелок у себя в голове.

* * *

Несколькими часами позже он просыпается и видит на фоне звезд силуэт летящего на восток самолета. Звук – будто рвется ткань. Потом самолет исчезает из виду, и через мгновение земля содрогается.

Край ночного неба за деревьями окрашивается алым. В дрожащем свете мастер видит, что самолет был не один, небо кишит ими, они проносятся туда и сюда во всех направлениях. Ему кажется, будто он смотрит не вверх, а вниз, словно луч прожектора направили в кровавую воду, небо стало морем, а самолеты – голодными рыбами, преследующими во тьме жертву.

2. 8 августа 1944 г.

Сен-Мало

Двери слетают с петель. Кирпичи крошатся в пыль. Фонтаны известки, земли и гранита взмывают в небо. Все двенадцать бомбардировщиков повернули, набрали высоту и выстроились над Ла-Маншем еще до того, как сорванная с крыш черепица закончила падать на улицы.

Пламя карабкается по стенам. Вспыхивают припаркованные машины, занавески, абажуры, диваны, матрасы и почти все двадцать тысяч томов в публичной библиотеке. Пламя течет вдоль стен, как прилив, выплескивается в проулки, перехлестывает через крыши, через автомобильную стоянку. Пыль, дым, пепел. Газетная стойка парит в воздухе, охваченная огнем.

В подвалах и криптах по всему городу малуэны молятся: «Господи, спаси град сей и людей его, не отврати лице Твое от нас имени Твоего ради». Старики крепче стискивают керосиновые лампы, дети кричат, собаки воют. Четырехсотлетние стропила вспыхивают в один миг. Часть Старого города, прижатая к западной стене, превращается в полыхающий ураган, из которого огненные шпильки встают на сто метров. Пламя так жадно потребляет кислород, что втягивает в себя все. Магазиновые вывески на цепях тянутся к огню. Кадки с деревцами скользят в его сторону по мостовой и падают. Стрижи, взлетевшие с крыш, вспыхивают, искрами проносятся над стенами и гаснут в море.

На рю-де-ла-Кросс «Пчелиный дом» на миг становится почти невесомым, закручивается огненным водоворотом и тут же сыплется на землю дождем обломков.

Дом № 4 по улице Воборель

Мари-Лора сжимается в комок под кроватью; в правой руке у нее камень, в левой – миниатюрная копия дома. Визжат гвозди в досках, осколки стекла, куски извести и кирпичей сыплются на пол, на макет, на матрас у нее над головой.

– Папа-папа-папа-папа, – повторяет Мари-Лора, но тело как будто отделилось от голоса, слова текут далекой, отрешенной чередой.

Ей представляется, что вся земля под Сен-Мало пронизана корнями огромного дерева в центре города, на площади, где никто никогда не бывал, а сейчас Божья рука вырывает это дерево, выворачивая комья гранита вместе с корневой системой – той же кроной, только перевернутой и воткнутой в землю (не так ли описал бы это доктор Жеффар?). Крепостные стены крошатся, улицы исчезают, здания длиной в квартал опрокидываются, словно игрушечные.

Медленно, облегченно мир оседает и успокаивается. Снаружи доносится тихий перезвон, – наверное, сыплются на улицу осколки стекла. Звук прекрасный и странный – как будто с неба идет дождь драгоценных камней.

Где бы ни был дядюшка Этьен, выжил ли он?

И можно ли выжить среди такого?

Жива ли она сама?

Дом кряхтит, скрипит, стонет. Затем нарастает вой, словно ветер бежит по высокой траве, только громче, голоднее. От него рвутся занавески и барабанные перепонки.

Мари-Лора чувствует запах дыма и понимает. Пожар. Окно в спальне выбито, и слышно, как что-то полыхает за ставнями. Что-то огромное. Весь район. Весь город.

Пол, стена, кровать над нею холодные. Дом пока не горит. Но надолго ли это?

Успокойся, думает Мари-Лора. Сосредоточься на своих легких. Вдох. Выдох. Снова вдох. Она не вылезает из-под кровати. Говорит себе:

– *Ce n'est pas la réalité*¹³.

¹³ Это не взаправду (фр.).

«Пчелиный дом»

Что он помнит? Он видел, как инженер Бернд закрыл дверь и сел на ступени. Видел, как великан Франк Фолькхаймер в золотистом кресле что-то снимал с брюк. Потом лампочка под потолком погасла, Фолькхаймер включил фонарь. И тут на них обрушился грохот, да такой оглушительный, словно орудие, пожирая все, сотрясло саму земную кору. Мгновение Вернер видел лишь луч фонаря, который бился, как испуганный мотылек.

Их тряхнуло. На мгновение – а может, на час или на сутки, определить невозможно, – Вернер вновь очутился в Цольферайне. Он стоял на краю поля, возле ямы, в которой шахтер похоронил двух мулов. Была зима, самому Вернеру еще не исполнилось пяти лет, а кожа у мулов стала почти прозрачной, так что из-под нее просвечивали кости. Комочки земли сыпались на открытые глаза мулов, а Вернер был так голоден, что гадал: не осталось ли на костях мяса, которое можно съесть.

Он слышал, как скребет по мелким камням лопата.

Слышал шумный вздох сестры.

Потом, словно некая эластичная лента растянулась до предела, его швырнуло назад, в подвал под «Пчелиным домом».

Пол уже не дрожит, но гул не умолкает. Вернер зажимает ладонью правое ухо. Гул остается – жужжание тысячи пчел, очень близко.

– Что-то гудит? – спрашивает он, но не слышит собственного вопроса.

Левая сторона лица мокрая. Наушники куда-то делись. Где радио, где верстак и что давит сверху?

С плеч, с груди, с волос Вернер снимает горячие куски дерева и камня. Найти фонарь, проверить, что с остальными, проверить радио. Проверить, что с выходом. Разобраться, что не так с его слухом. Вот рациональные шаги. Вернер пытается сесть, но потолок стал гораздо ниже, и он ударяется головой.

Жарко. И становится еще жарче. Вернер думает: нас заперли в ящике, а ящик бросили в жерло вулкана.

Проходят секунды. А может быть, минуты. Вернер по-прежнему стоит на коленях. Найти фонарик. Потом остальных. Потом выход. Потом разобраться, что со слухом. Может, австрияки сверху уже пробиваются через завалы на помощь. Однако Вернер никак не может найти фонарь. И даже встать не может.

В абсолютной тьме кружат тысячи алых и синих пятен. Языки огня? Призраки? Они скользят по полу, затем поднимаются к потолку, мерца непонятным светом.

– Мы умерли? – кричит Вернер в темноту. – Мы что, умерли?

Шесть лестничных пролетов вниз

Рев бомбардировщиков едва затих, когда мимо дома со свистом проносится артиллерийский снаряд и с глухим звуком взрывается неподалеку. По крыше что-то дробно стучит – осколки снаряда? горящие угли? Мари-Лора говорит вслух: «Ты слишком высоко в доме» – и заставляет себя вылезти из-под кровати. И без того времени потеряно чересчур много. Она убирает камень в макет дома, задвигает дощечки, составляющие крышу, поворачивает трубу и убирает домик в карман платья.

Где туфли? Мари-Лора ползает по полу, но пальцы нащупывают только щепки и что-то острое – наверное, осколки стекла. Она находит трость и без туфель, в одних чулках, выходит в коридор. Здесь запах дыма сильнее. Пол все еще холодный, и стены тоже. Мари-Лора заходит пописать в уборную на шестом этаже, чуть было машинально не спускает воду, но вовремя себя одергивает, вспомнив, что если бачок опустеет, то уже не наполнится. Она замирает, проверяя, не стал ли воздух теплее, и лишь потом идет дальше.

Шесть шагов до лестницы. Второй снаряд со свистом проносится над домом. Мари-Лора вскрикивает. Снаряд взрывается – на этот раз где-то над устьем реки. Звенят подвески на люстре.

Дождь кирпичей, дождь мелких камешков, медленный дождь сажки. Восемь винтовых ступеней, вторая и пятая скрипят. Повернуться вокруг колонны лестницы. Еще восемь ступенек. Четвертый этаж. Третий. Здесь Мари-Лора проверяет проволоку, которую дедушка Этьен пропустил под телефонным столиком на площадке. Колокольчик на месте, проволока по-прежнему натянута, уходит вертикально в дыру, которую Этьен просверлил в стене. Никто не входил и не выходил.

Восемь шагов по коридору до ванной третьего этажа. Ванна наполнена. На поверхности что-то плавает, наверное мелкие хлопья побелки, а на полу под коленями грязь, но Мари-Лора все равно принакает губами к воде и жадно пьет, стараясь выпить как можно больше.

Назад на лестницу и по ней на второй этаж. Потом на первый, держась за резные перила. Вешалка опрокинута. В коридоре острые осколки чего-то – наверное, посуды из буфета в столовой. Мари-Лора ступает осторожно-осторожно.

На этом этаже окна, видимо, тоже выбиты: она вновь чувствует запах дыма. Дедушкино пальто висит на крючке в прихожей; Мари-Лора надевает его. Здесь туфель тоже нет – куда же она их задевала? Кухня – хаос упавших полок и кастрюль. Раскрытая поваренная книга на полу корешком вверх, словно сбита птица. В буфете Мари-Лора находит половинку батона – все, что осталось со вчерашнего дня.

Посреди кухни – вход в погреб. Она отодвигает обеденный стол, нащупывает металлическое кольцо и поднимает крышку люка.

Приют мышей, пахнувший сыростью и гнилыми моллюсками, как будто десятилетия назад сюда в прилив попала вода и потом долго-долго высыхала. Мари-Лора медлит над открытым люком. Сверху тянет пожаром, снизу – почти полной его противоположностью, затхлой влагой. Дым: дедушка Этьен говорит, что дым – это воздушная взвесь, миллиарды пляшущих в воздухе молекул углерода. Частички гостиных, кафе, деревьев. Людей.

Третий артиллерийский снаряд, визжа, несется к городу с востока. Мари-Лора нащупывает в кармане макет дома. Потом берет хлеб, трость, спускается по приставной лесенке и закрывает за собой люк.

В западне

Возникает свет. Вернер изо всех сил надеется, что это не галлюцинация. Янтарный луч шарит в пыльном воздухе, освещает упавший кусок стены, покореженную полку, два металлических шкафа, развороченные и смятые так, будто исполинская рука разорвала их пополам. Выхватывает из темноты россыпь инструментов, поломанные крюки и десяток совершенно целых банок с гвоздями и шурупами.

Фолькхаймер. Он включил фонарь и раз за разом проводит лучом по нагромождению обломков в дальнем углу: камням, цементу, ломаным доскам. Только через минуту до Вернера доходит, что это лестница.

То, что осталось от лестницы.

Весь угол обрушился. Луч замирает на миг, словно давая Вернеру возможность осознать их положение, сдвигается вправо и медленно, рывками ползет в клубах пыли. В отраженном свете Вернер видит огромный силуэт Фолькхаймера: тот, пригнувшись, спотыкаясь, пробирается под нависшей арматурой и трубами. Наконец свет останавливается. Держа фонарь в зубах, среди рваных косых теней, Фолькхаймер поднимает куски кирпичной кладки, доски, шматы штукатурки. Под ними что-то есть, и это что-то постепенно обретает форму.

Инженер. Бернд.

Его лицо бело от пыли, но глаза – черные дыры, рот – багровый провал. Бернд кричит, но Вернер ничего не слышит за гулом в ушах.

Фолькхаймер поднимает инженера. Пожилой человек на руках у обер-фельдфебеля, в свете фонаря, который тот зажал в зубах, кажется ребенком. Фолькхаймер несет его по заваленному обломками полу, пригибаясь, чтобы не задеть низкий потолок, и усаживает в золотистое кресло. Оно стоит как стояло, только засыпано известковой пылью.

Фолькхаймер большой рукой берет Бернда за челюсть и закрывает ему рот. Вернер, в полутора метрах от них, не слышит никакой перемены.

Погреб вновь содрогается, сверху сыплется горячая пыль.

Теперь луч фонаря кружит по тому, что осталось от потолка. Три огромные дубовые балки надломились, но пока держат. Штукатурка между ними покрыта паутиной трещин, в двух местах торчат трубы. Луч скользит у Вернера за спиной, озаряет упавший верстак и разбитый корпус радиоприемника. Наконец упирается в самого Вернера. Тот вскидывает ладонь, закрывая глаза от света.

Фолькхаймер подходит; его большое участливое лицо под каской придвигается совсем близко. Широкоскулое, знакомое. Глубоко посаженные глаза, раздвоенный кончик носа, массивный, как мышелки бедренной кости. Подбородок – словно континент. Фолькхаймер бережно трогает Вернера за щеку. Отводит руку – пальцы в чем-то красном.

– Надо выбираться наружу, – говорит Вернер. – Надо найти другой выход.

«Наружу?» – произносят губы Фолькхаймера. Он мотает головой. *Другого выхода нет.*

3. Июнь 1940 г.

Шато

На третий день после бегства из Парижа Мари-Лора с отцом входят в Эврё. Рестораны либо заколочены, либо переполнены людьми. Две женщины в вечерних платьях сидят, привалившись друг к дружке, на ступенях собора. Между рыночными прилавками лежит ничком человек – без сознания или хуже.

Почта закрыта. Телеграф не работает. Самая свежая газета – позавчерашняя. Очередь за талонами на бензин тянется от префектуры на квартал.

В первых двух гостиницах нет мест. В третьей не открывают. Ключный мастер то и дело ловит себя на том, что оглядывается через плечо.

– Папа, – растерянно повторяет Мари-Лора, – мне больно идти.

Он закуривает. Осталось три сигареты.

– Теперь уже близко, Мари.

На западной окраине Эврё дома заканчиваются, начинается сельская местность. Мастер вновь и вновь смотрит на записку, которую дал ему директор. «Мсье Франсуа Жанно, дом № 9, рю-Сен-Николя». Однако когда они доходят до указанного адреса, то видят пожар. В безветренных сумерках дым столбами поднимается над деревьями. В угол ворот въехала машина и сорвала их с петель. Дом – вернее, то, что от него осталось, – огромен. Двадцать стеклянных дверей с фасада, большие свежепокрашенные ставни, тщательно подстриженные живые изгороди. *Un château*¹⁴.

– Папа, дымом пахнет.

Он ведет Мари-Лору по гравийной дорожке. Рюкзак – или камень глубоко внутри – с каждым шагом все тяжелее. На гравии не блестят лужи воды, перед домом не суетятся пожарные. Парные мраморные урны у входа опрокинуты. Лестница усыпана хрустальными подвесками от люстры.

– Что горит, папа?

В дымных сумерках перемазанный в копоты мальчишка, не старше Мари-Лоры, катит им навстречу сервировочный столик. Колесики со стуком подпрыгивают на гравии, на столике дребезжат серебряные ложки и щипцы. С каждого из четырех углов улыбаются полированные купидоны.

– Это дом Франсуа Жанно? – спрашивает мастер.

Мальчишка, не отвечая, проходит мимо.

– Ты не знаешь, что с...

Дребезжание столика удаляется.

Мари-Лора дергает отца за полу:

– Папа, ну скажи, пожалуйста.

В пальтишке, на фоне темных деревьев, она кажется бледнее обычного. Такой испуганной отец ее еще не видел. Не слишком ли много он требует от дочери?

– Горит дом, Мари, и люди воруют оттуда вещи.

– Что за дом?

– Тот дом, куда мы с тобою так долго шли.

¹⁴ Дворец (фр.).

Поверх ее головы он видит, как разгорается и гаснет на ветру обугленный дверной косяк. Сквозь дыру в крыше проглядывает темнеющее небо.

Еще два мальчика появляются из клубов дыма. Они тащат портрет в золоченой раме в два раза выше себя. С портрета хмурится давным-давно умерший прапрадедушка. Мастер вскидывает обе руки, чтобы остановить мальчишек:

– Его разбомбили?

Один говорит:

– Внутри еще много осталось.

Полотно картины идет волнами на ветру.

– Ты знаешь, где сейчас мсье Жанно?

Второй отвечает:

– Сбежал еще вчера. Вместе с остальными. В Лондон.

– Не говори ему ничего, – вмешивается первый.

Мальчишки вместе с добычей убегают по дорожке и тают во тьме.

– В Лондон? – шепчет Мари-Лора. – Друг директора в Лондоне?

Мимо них ветер гонит почерневшие листы бумаги. В деревьях шепчутся тени. Лопнувшая дыня на дорожке, словно отрезанная голова. Мастер увидел слишком много. Весь день, километр за километром, он воображал, как их пригласят в дом и накормят. Картофель с горячим нутром, куда они с Мари-Лорой будут вилками запихивать масло. Лук-шалот, шампиньоны, яйца вкрутую и соус бешамель. Кофе, сигареты. Он отдал бы мсье Жанно камень, а мсье Жанно вытащил бы из нагрудного кармана бронзовый двойной лорнет, поднес его к спокойным глазам и сказал бы: подлинник или фальшивка. Потом Жанно закопал бы камень в саду или спрятал в тайнике за стеной панелью, и на этом бы все закончилось. Долг был бы исполнен. *Je ne t'en occupe plus*¹⁵. Им предоставили бы отдельную комнату, они бы приняли ванну, быть может, кто-нибудь бы даже постирал их одежду. Мсье Жанно, наверное, рассказывал бы забавные истории про своего друга-директора, а утром под птичье пенье они бы прочли в свежей газете, что вторжение отменяется, а Франция отделалась небольшими уступками. Он вернулся бы в ключную и вечерами вставлял бы в макеты домиков распашные окошки. *Бонжур, бонжур*. Все как прежде.

Однако все не как прежде. Деревья колышутся, дом тлеет, а у мастера, который стоит в полутьме на гравийной дорожке, крутится в голове тревожная мысль: «Кто-нибудь может нас искать. Кто-нибудь может знать, что у меня с собой».

Он почти бегом ведет Мари-Лору назад по дорожке.

– Папа, мне больно идти.

Он перекидывает рюкзак себе на грудь, сажает ее на закорки и несет. Они проходят мимо сорванных ворот и разбитой машины, затем поворачивают не к востоку – к центру Эврё, – а к западу. Мимо проезжают велосипедисты. На их усталых лицах то ли подозрительность, то ли страх. А может, страх и подозрительность – в глазах самого мастера.

– Не так быстро, – просит Мари-Лора.

Они останавливаются в бурьяне в двадцати шагах от дороги. Вокруг ничего, лишь наступающая ночь да ухают на деревьях совы, а в воздухе над придорожной канавой носятся летучие мыши. Мастер напоминает себе, что алмаз – всего лишь кусок углерода, спрессованный за миллионы лет в недрах земли и выброшенный на поверхность вулканической трубкой. Кто-то его огранил, кто-то отшлифовал. Он точно так же не может быть источником проклятия, как древесный лист, или зеркало, или жизнь. В мире есть только случайность – случайность и законы физики.

Да и в любом случае то, что у него с собой, – стекляшка. Обманка для отвода глаз.

¹⁵ Я этим больше не занимаюсь (фр.).

Позади, над Эврё, облачная гряда вспыхивает один раз, потом второй. Молния? На дороге впереди большой нескошенный луг и плавный силуэт строений. Сельский дом и сарай. Окна не горят, движения не видно.

– Мари, я вижу гостиницу.

– Ты сказал, они переполнены.

– Эта выглядит приветливой. Пошли. Осталось совсем немного.

Он вновь несет дочь. Еще чуть больше полкилометра. Окна сельского дома по-прежнему темны. Сарай чуть подальше. Мастер прислушивается, но слышит лишь стук крови в ушах. Ни собачьего лая, ни света фонарей. Возможно, крестьяне тоже сбежали. Он ставит Мари-Лору на землю перед сараем и тихонько стучит. Ждет, потом стучит снова.

Замок – новенький навесной «Берке», с одним ригелем; мастер легко вскрывает его своими инструментами. Внутри овес, ведра с водой и медленно кружащие слепни, но лошадей нет. Он открывает стойло, усаживает Мари-Лору в уголок и снимает с нее туфли.

– Вуаля, – говорит он. – Один из постояльцев завел в фойе своих лошадей, так что тут немножко пахнет. Но сейчас портье его вытаскивают. Смотри, вот он уже за дверью. До свиданья, лошадка! Отправляйся спать в конюшню, пожалуйста!

Лицо у дочери растерянное. Испуганное.

За домом сад и огород. В полутьме можно различить розы, латук, листовой салат. Клубника по большей части еще не созрела. Мягкие белые морковки с налипшей на корешки черной землей. Ничто не шевелится; в окне не возникает крестьянин с ружьем. Мастер снимает рубашку, набирает в нее овощей, наливает воды из крана на улице, закрывает дверь и кормит дочь. Затем укладывает ее на свое пальто и вытирает ей лицо своей рубашкой.

Остались две сигареты. Затяжка, выдох.

Следуй путем логики. У каждого следствия есть причина, из каждой трудной ситуации есть выход. К каждому замку можно подобрать ключ. Можно вернуться в Париж, или остаться здесь, или идти дальше.

Снаружи долетает совиное уханье. Далекие раскаты грома или канонады, а может, того и другого. Он говорит:

– Гостиница очень дешевая, *ma chérie*. Хозяин сказал, наш номер стоит сорок франков на ночь, но только двадцать, если мы сами приготовим себе постели.

Он прислушивается к ее дыханию.

– Я сказал: «Конечно мы сами приготовим себе постели». А он ответил: «Отлично, я дам вам доски и гвозди».

Мари-Лора не улыбается.

– Теперь мы отправимся к дяде Этьену?

– Да, Мари.

– Который на семьдесят шесть процентов сумасшедший?

– Он был с твоим дедом – своим братом, – когда тот погиб. На войне. Надышался ипритом и немного сдвинулся умом. Начал видеть всякое разное.

– Что значит «всякое разное»?

Раскаты все ближе. Сарай слегка подрагивает.

– То, чего нет.

Пауки ткнут паутину между потолочными брусками. Мотыльки бьются в стекло. Начинается дождь.

Вступительные экзамены

Вступительные экзамены в школу национал-политического образования проходят в Эссене, в тридцати километрах от Цольферайна, в душном танцзале, где работают три огромных электрических калорифера. Один непрерывно лязгает и плюется паром, несмотря на все усилия его починить. С потолка свисают флаги военного министерства, каждый размером с танк.

Абитуриентов сто человек, все мальчики. Представитель школы, в черной форме, выстраивает их в шеренгу по четыре. На груди у него звякают медали.

– Вы, – объявляет он, – пытаетесь поступить в самую элитную школу мира. Экзамены продлятся восемь дней. Мы возьмем только самых чистых, самых сильных.

Второй представитель школы раздает форму: белые рубашки, белые шорты, белые носки. Мальчики переодеваются прямо на месте.

С Вернером в его возрастной группе еще двадцать шесть мальчиков. Все, кроме двух, выше его. Все блондины. Ни одного очкарика.

Все первое утро мальчики в белых формах заполняют анкеты. Полная тишина, только скребут карандаши по бумаге, расхаживают экзаменаторы да рычит калорифер.

Где родился твой дед? Какого цвета глаза у твоего отца? Работала ли твоя мать в учреждении? Из ста десяти вопросов про происхождение Вернер может уверенно ответить только на шестнадцать. Остальное – догадки.

Откуда родом твоя мать?

Из Германии.

Откуда родом твой отец?

Из Германии.

На каком языке говорит твоя мать?

Прошлого времени не предусмотрено. Вернер пишет: «на немецком».

Он вспоминает фрау Елену сегодня утром, когда все дети еще спали, а та, стоя в ночной рубашке под лампой, последний раз проверяла, все ли у него собрано. Она выглядела растерянной, как будто не успевает осознать стремительные перемены в жизни. Она говорила, что гордится им. Что Вернеру надо постараться изо всех сил. «Ты сообразительный мальчик. У тебя получится». Она снова и снова поправляла его воротник. Когда он сказал: «Я ж на неделю всего еду», ее глаза начали медленно наливаться слезами, как будто их уровень внутри неудержимо поднимается, а фрау Елена ничего не может с этим поделать.

Во второй половине дня абитуриенты бегают. Проползают под препятствиями, отжимаются, влезают по канатам, подвешенным к потолку, – сто детей в белой форме неразличимой чередой проходят перед глазами экзаменаторов, будто телята. В челночном беге Вернер пришел девятым. В лазанье по канату – предпоследним. Ему не справиться.

Вечером ребята высыпают в вестибюль. Некоторых встречают гордые родители на машинах, другие по двое или по трое уверенно исчезают в улочках, – видимо, все знают, куда идти. Вернер в одиночестве проходит шесть кварталов до спартанского хостела, где снимает койку (две марки за ночь), и долго лежит без сна под разговоры других постояльцев, слушая курлыканье голубей, бой башенных часов и рычание автомобилей. Это его первая ночь за пределами Цольферайна, и Вернер невольно думает о Ютте, которая не разговаривала с ним с тех пор, как он разбил приемник. Смотрела с таким укором, что ему приходилось отводить взгляд. Ее глаза говорили: «Ты меня предал». Хотя ведь на самом деле он ее спасал?

На второе утро – проверка расовой чистоты. От Вернера много не требуется – только поднять руки или не моргать, пока ему в зрачки светят фонариком. Он потеет и переминается. Сердце беспричинно стучит. Пахнувший луком лаборант в белом халате измеряет рас-

стояние между его висками, обхват головы, толщину и форму губ. Записывает длину его стопы, пальцев на руках, расстояние от пупка до глаз. Длину члена. Прикладывает к носу деревянный транспортир, чтобы определить его угол.

Второй лаборант оценивает цвет глаз по шкале, на которой представлены больше полусотни оттенков голубого и синего. У Вернера глаза *himmelblau* – небесно-голубые. Чтобы оценить цвет волос, лаборант отрезает у Вернера прядь и сравнивает с тремя десятками прядей, закрепленных на доске, – от самых темных до самых светлых.

– *Schnee*, – говорит лаборант и записывает.

Снег. У Вернера волосы блее самого светлого образца на доске.

Ему проверяют зрение, берут анализ крови, снимают отпечатки пальцев. К полудню он гадает, осталось ли у него что-нибудь неизмеренное.

Затем устный экзамен. Сколько всего учреждений национал-политического образования? Двадцать. Кто наши величайшие олимпийцы? Вернер не знает. Когда день рождения фюрера? Двадцатого апреля. Кто наш величайший писатель, что такое Версальский мир, какой немецкий самолет самый быстрый?

На третий день снова бег, лазанье, прыжки. Все под секундомер. Лаборанты, представители школы, экзаменаторы – все в формах чуть разного оттенка – записывают результаты на миллиметровке очень мелким почерком, затем миллиметровку лист за листом вкладывают в кожаные скоросшиватели с тисненой золотой молнией на обложке.

Абитуриенты взволнованным шепотом гадают:

– Я слышал, в школе есть моторные лодки, охотничьи соколы, тир.

– Я слышал, возьмут только по семь человек из каждой возрастной группы.

– А я слышал, что только по четыре.

Они говорят о школе с надеждой и бравадой: каждый отчаянно хочет, чтобы его взяли. Вернер убеждает себя: «И я тоже хочу».

И все же по временам, несмотря на честолюбивые мечты, на него накатывает тоска: он видит Ютту с кусками радиоприемника в руках, и под ложечкой начинает сосать от неуверенности.

Абитуриенты взбираются на препятствия, бегают один спринт за другим. На пятый день трое выбывают из борьбы. На шестой – еще четверо. С каждым часом в танцзале все жарче, так что к седьмому дню воздух, стены и пол пропитаны резким мальчишеским запахом. В качестве последнего испытания каждый из четырнадцатилеток должен влезть по прибитой к стене лестнице, перебраться на крошечную платформу, упираясь головой в потолок, зажмуриться и спрыгнуть на флаг, который держат другие абитуриенты.

Первым лезть крепкому деревенскому парнишке из Херне. Он быстро взбирается по лестнице, но, очутившись высоко на платформе, бледнеет. Коленки у него дрожат.

– Трус, – говорит кто-то.

Мальчик рядом с Вернером шепчет:

– Боится высоты.

Экзаменатор бесстрастно ждет. Мальчишка на платформе заглядывает через ее край – словно смотрит в клубящуюся бездну – и закрывает глаза. Его шатает. Тянутся бесконечные секунды. Экзаменатор смотрит на секундомер. Вернер крепче вцепляется в свой край флага.

Теперь уже все в зале смотрят на них, даже ребята из других возрастных групп. Парнишку снова шатает – ясно, что сейчас он потеряет сознание. И все равно никто не пытается ему помочь.

Он заваливается вбок. Абитуриенты успевают шагнуть в сторону и подставить флаг, но не удерживают край, так что парнишка ударяется руками в пол с таким звуком, будто кто-то ломает о колено пучок хвороста.

Парнишка садится. Обе его руки вывернуты под чудовищными углами. С мгновение он удивленно моргает, глядя на них, словно шарит в памяти и силится понять, как вообще сюда попал.

Потом начинает кричать. Вернер отводит глаза. Четирем мальчикам приказывают вынести пострадавшего.

Один за другим оставшиеся четырнадцатилетки взбираются по лестнице, дрожат и прыгают. Один безостановочно рыдает. Другой приземляется неудачно и вывихивает лодыжку. Следующий собирается с духом почти две минуты. Пятнадцатый мальчик оглядывает танцзал, словно это бурное холодное море, затем спускается назад по лестнице.

Вернер наблюдает за ними со своего места у флага. Когда подходит его очередь, он говорит себе, что трусить нельзя. Сквозь закрытые веки он видит металлические конструкции Цольферайна, огнедышащие трубы, людей, которые высыпают из подъемника, как муравьи, вход в Девятую шахту, где пропал отец. Ютта за мокрым от дождя стеклом смотрит, как он уходит с ефрейтором к герру Зидлеру. Вспоминается вкус взбитых сливок и сахарной пудры, гладкие икры жены герра Зидлера.

Им нужны упорные мальчики.

Мы возьмем только самых чистых, самых сильных.

Твой брат пойдет на шахту, точно так же, как остальные мальчики из этого дома.

Вернер взбирается по лестнице. Перекладки плохо оструганы, и он сажает занозы. Сверху красный флаг с белым кругом и черной свастикой кажется неожиданно маленьким. Кольцо бледных лиц обращено вверх. Здесь даже жарче, чем внизу, от запаха пота кружится голова.

Вернер без колебаний подходит к краю платформы, закрывает глаза и прыгает. Он приземляется точно в центр флага, мальчишки по сторонам издают коллективный стон.

Вернер уже на полу, все кости целы. Экзаменатор щелкает секундомером, записывает, поднимает лицо. Полсекунды или даже меньше они смотрят друг другу в глаза. Затем экзаменатор возвращается к своим записям.

– Хайль Гитлер! – орет Вернер.

Следующий мальчик начинает взбираться по лестнице.

Бретань

Утром их подбирает старенький мебельный фургон. Отец сажает Мари-Лору в кузов, где под брезентовым тентом уже устроились человек десять. Мотор рычит и чихает; грузовик едет немногим быстрее пешехода.

Женщина молится вслух с норманнским акцентом, кто-то угощает соседей пирожками, все пахнет дождем. «Штуки»¹⁶ не пикируют на них, не поливают пулеметным дождем. Никто в грузовике не видел немцев. Половину утра Мари-Лора пытается убедить себя, что предыдущие дни были хитрым испытанием, которое придумал для нее отец, что фургон едет не из Парижа, а в Париж и сегодня же они вернутся домой. На верстаке будет стоять макет, на кухонном столе – сахарница с ложечкой. За открытым окном на рю-де-Патриарш торговец сыром будет запирать свой восхитительно пахнущий магазинчик, как почти каждый вечер на памяти Мари-Лоры, каштан будет шелестеть листьями, папа сварит кофе, нальет ей теплую ванну и скажет: «Ты отлично справилась, Мари-Лора. Я тобой горжусь!»

Фургон съезжает с шоссе на тряскую грунтовку. Высокие травы хлещут его по бокам. Сильно за полночь, западнее Канкаля, кончается бензин.

– Теперь уже близко, – шепчет отец.

Мари-Лора бредет в полудреме. Дорога немногим шире тропы. Пахнет мокрым зерном и подстриженной живой изгородью. Между звуками их шагов слышится низкий, почти инфразвуковой рев. Она дергает отца, чтобы тот остановился:

– Армия.

– Океан, – отвечает он.

Мари-Лора наклоняет голову набок.

– Это океан, Мари. Честное слово.

Он несет ее на спине. Кричат чайки, пахнет мокрым камнем, птичьим пометом, солью, хотя прежде Мари-Лора не знала, что у соли есть запах. Море говорит на своем языке, и речь отдается в камнях, в воздухе, в небе. Как там говорил капитан Немо? *Море не подвластно деспотам.*

– Мы входим в Сен-Мало, – говорит ее отец. – В ту часть, которую тут называют «город внутри стен».

Он описывает то, что видит: решетку ворот, крепостные стены, гранитные здания, колокольню над крышами. Эхо его шагов отражается от высоких домов и дождем сыплется сверху. Мари-Лора достаточно взрослая, чтобы понимать: то, что папа описывает как приветливое и необычное, вполне может быть пугающим и чужим.

Над головой звучат непривычные птичьи голоса. Папа сворачивает налево, тяжело ступая под ее весом, потом направо. У Мари-Лоры такое чувство, будто все последние четыре дня они пробирались в центр запутанного лабиринта, а теперь на цыпочках крадутся мимо караульных в какую-то внутреннюю камеру, где, возможно, дремлет чудовище.

– Рю-Воборель, – произносит отец, хрипло дыша. – Вход должен быть там. Или там?

Он идет назад, сворачивает в проулок и через некоторое время останавливается.

– А спросить не у кого?

– Ни в одном окне нет света, Мари. Все либо спят, либо притворяются, что спят.

Наконец он находит вход, ставит Мари-Лору на тротуар и жмет кнопку. Слышно, как в доме звенит звонок. И больше ничего. Он жмет второй раз. Снова ничего. Жмет третий.

– Это дом твоего дяди?

– Да.

¹⁶ Юнкерс Ю-87 «Штука» – немецкий пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны.

– Он нас не знает.

– Он спит. Нам тоже сейчас следовало бы спать.

Они садятся спиной к холодной кованой решетке. Массивная деревянная дверь в нише сразу за ними. Мари-Лора кладет голову отцу на плечо, он стаскивает с нее туфли. Мир как будто слегка покачивается, словно город уплывает прочь. Словно там, дальше от моря, всей Франции осталось только кусать ногти, бежать, спотыкаясь и плача, а проснувшись на серой заре – не верить в то, что произошло. Кому сейчас принадлежат дороги? Поля? Деревья?

Отец вынимает из нагрудного кармана рубашки последнюю сигарету и закуривает.

В глубине дома слышны шаги.

Мадам Манек

Как только папа называет свое имя и фамилию, дыхание за дверью переходит в протяжное «ах!». Решетка скрипит, дверь за нею открывается.

– Матерь Божия! – произносит женский голос. – Вы были такой маленький!

– Моя дочь, мадам. Мари-Лора, это мадам Манек.

Мари-Лора пытается сделать реверанс. Две крепкие ладони берут ее за щеки – это руки геолога или садовника.

– Господи, вот правда, гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдется. Ой, милая, да у тебя все чулки изодраны! И ноги стерты! Ты наверняка умираешь с голоду.

Они проходят в узкий вход. Мари-Лора слышит, как лязгает, захлопываясь, решетка, потом женщина запирает за ними дверь. Два засова, одна цепочка. Их проводят в помещение, где пахнет пряными травами и опарой, – на кухню. Папа расстегивает на Мари-Лоре пальто, помогает ей сесть.

– Мы очень признательны. Я понимаю, какой поздний час, – говорит он.

Пожилая женщина – мадам Манек – быстрая и энергичная, видимо, уже переборола первое изумление. Оборвав папины благодарности, она вместе со стулом придвигает Мари-Лору к столу. Чиркает спичка, вода льется в чайник, хлопает дверца холодильника. Через мгновение уже слышно гудение газа и щелканье нагреваемого металла. Еще через мгновение к лицу Мари-Лоры прикасается теплое полотенце. Перед нею кружка с холодной чистой водой. Каждый глоток – счастье.

– О, город совершенно переполнен, – говорит мадам Манек, двигаясь по кухне. У нее странный выговор, какой-то напевный, почти сказочный. Судя по всему, она маленького роста, а на ногах у нее большие тяжелые башмаки. Голос низкий, хриловатый, как у матроса или курильщика. – Некоторым по карману гостиницы или меблированные комнаты, но многие ютятся на складах, на соломе, почти без еды. Я бы пригласила их сюда, да вы знаете своего дядюшку, его это может напугать. Нет ни солярки, ни керосина. Английские корабли давно ушли. Они ничего не оставили, все сожгли. Я сперва ни за что не хотела верить, но у Этьена радио работает круглые сутки...

Треск разбиваемых яиц. Шипение масла на сковороде. Отец рассказывает сокращенную историю их бегства: вокзал, напуганные толпы. Он пропускает остановку в Эврё, но вскоре Мари-Лору отвлекают запахи: омлета, шпината, плавящегося сыра.

Омлет на столе. Мари-Лора наклоняет лицо над его паром:

– Пожалуйста, можно мне вилку?

Старуха смеется. У нее чудесный добрый смех. Через секунду вилка уже у Мари-Лоры в руке.

Омлет воздушный и вкусный, как золотое облако. Мадам Манек говорит: «Я думаю, ей нравится», – и снова смеется.

Вскоре на столе появляется вторая тарелка с омлетом, и папа уплетает за обе щеки.

– Как насчет персиков, милая? – спрашивает мадам Манек.

Мари-Лора слышит, как консервный нож открывает банку, как льется в миску сироп. Через секунду она уже ест ломтики влажного солнечного света.

– Мари, – шепчет папа, – не забывай про приличия.

– Но они...

– Ешь, деточка, не стесняйся, у нас много. Я закатываю их каждый год.

После того как Мари-Лора съедает две банки персиков, мадам Манек тряпкой вытирает ей ноги, снимает с нее пальто, составляет посуду в раковину и спрашивает: «Сигарету?» Папа стонет от благодарности. Чиркает спичка, взрослые курят.

Открывается дверь или окно, и Мари-Лора слышит гипнотический голос моря.

– А Этьен? – спрашивает папа.

– То сидит взаперти, как покойник, то ест, как альбатрос.

– Он по-прежнему не?..

– Вот уже двадцать лет.

Может, взрослые говорят друг другу что-то еще. Может, Мари-Лоре следовало бы проявить больше любопытства насчет двоюродного дедушки, который видит то, чего нет, и насчет судьбы всего и всех, кого она когда-либо знала. Однако желудок у нее полон, кровь теплым золотом струится по жилам, а за открытым окном, за стенами, бьется море. Лишь кусок каменной кладки отделяет Мари-Лору от края Бретани, самого дальнего подоконника Франции. И пусть немцы накатывают неудержимо, как лава, Мари-Лора уплывает во что-то вроде сна или воспоминания о сне: ей шесть или семь лет, она ослепла совсем недавно, папа сидит на стуле рядом с ее кроватью, стругает деревяшку, курит, а на сто тысяч парижских крыш и труб спускается тихий вечер; стены вокруг мало-помалу тают, и потолок тоже, весь город растворяется в тумане, и наконец сон накрывает ее, словно тень.

Ты призван

Все хотят слушать рассказы Вернера. Как проходили экзамены, что его заставляли делать. Расскажи нам все. Младшие дети теребят его за рукав, старшие ведут себя уважительно. Снежноголовый мечтатель сумел выбраться из копоты.

– Сказали, что из моей возрастной группы возьмут только двоих. Может, троих.

Ютта сидит за дальним концом стола, и Вернер ощущает жар ее внимания. На остаток денег герра Зидлера он купил «народный приемник» за тридцать четыре марки восемьдесят, двухламповый, маломощный, дешевле даже соседских «Фолькс-Эмпфенгеров». Он принимает только длинноволновые общенемецкие программы Дойчландзендера. Больше ничего. Ничего иностранного.

Дети при виде приемника радостно вопят. Ютта не выражает интереса.

– А много было математики? – спрашивает Мартин Заксе.

– Вам давали сыр? А пироги?

– Тебе дали пострелять из винтовки?

– Вы ездили на танках? Ведь правда ездили?

– Я не знал ответов на половину вопросов, – отвечает Вернер. – Я наверняка не поступаю.

Однако он поступает. Через пять дней после его возвращения из Эссена почтальон приносит в сиротский дом письмо и передает лично в руки Вернеру. Жесткий конверт с орлом и свастикой. Без марки. Как депеша от Бога.

Фрау Елена стирает. Младшие мальчики сгрудились вокруг нового приемника: слушают получасовую программу «Детский клуб». Ютта и Клаудиа Фёрстер повели трех младших девочек на ярмарочное кукольное представление; Ютта с самого возвращения Вернера не сказала ему и десяти слов.

«Ты призван», – говорится в письме. Вернеру указано прибыть в Учреждение национал-политического образования № 6 в Шульпфорте. Он стоит в гостиной сиротского дома, пытаясь осознать новость. Стены в трещинах, лупящийся потолок, две скамьи, на которых одни сироты сменяют других, сколько существует шахта. Он сумел отсюда выбраться.

Шульпфорта. Крохотная точка на карте возле Наумбурга, в Саксонии. Триста километров к востоку. Лишь в самых дерзких мечтах Вернер позволял себе надеяться, что когда-нибудь поедет так далеко. Он несет письмо в проулок за домом, где фрау Елена в клубах дыма кипятит простыни.

Она перечитывает листок несколько раз.

– Мы не сможем заплатить.

– Нам и не надо.

– Сколько туда ехать?

– Пять часов на поезде. Билет уже оплачен.

– Когда?

– Через две недели.

Фрау Елена: мокрые волосы прилипли к щекам, под глазами багровые мешки, розовые ободки у ноздрей. Тонкий крестик на влажной шее. Гордится ли она им? Фрау Елена трет глаза, рассеянно кивает и говорит:

– Они будут рады.

Потом возвращает ему письмо и смотрит в проулок между тесными рядами веревок с бельем и угольными ведрами.

– Кто, фрау?

– Все. Соседи. – Она смеется неожиданно резким смехом. – Заместитель министра. Тот, что забрал твою книгу.

– Но не Ютта.

– Да. Не Ютта.

Он мысленно репетирует доводы, которые изложит сестре. *Pfl icht*. Это означает «долг». Обязательства. Каждый немец выполняет свое предназначение. Надевай башмаки и иди работать. *Ein Volk, ein Reich, ein Führer*¹⁷. У каждого из нас своя роль, сестренка. Однако еще до возвращения девочек известие, что его приняли в школу, облетает весь квартал. Соседи приходят один за другим, восклицают, трясут подбородками. Шахтерские жены приносят свиные ножки и сыр, передают из рук в руки письмо, грамотные читают вслух неграмотным, и Ютта, вернувшись, застаёт полную комнату ликующих людей. Близняшки Ханна и Сусанна Герлиц упоенно носятся вокруг дивана, шестилетний Рольф Гупфауэр затягивает: «Вставай! Слава отечеству!» – несколько других детей подхватывают, и Вернер не видит, как фрау Елена говорит с Юттой в уголке, как Ютта убегает наверх.

Когда звонят к обеду, она не спускается. Фрау Елена просит Ханну Герлиц прочесть молитву и го во рит Вернеру, что побеседует с Юттой, а он должен оставаться здесь, ведь все эти люди пришли ради него. В голове у него то и дело искрами вспыхивают слова: «Ты призван». Каждая ускользающая минута сокращает его срок в этом доме. В этой жизни.

После обеда маленький Зигфрид Фишер, не старше пяти лет, обходит стол, дергает Вернера за рукав и протягивает ему вырванную из газеты фотографию. На снимке шесть бомбардировщиков плывут над облачной грядой. На фюзеляжах застыли солнечные полосы, шарфы пилотов развеваются.

– Ты ведь им покажешь, правда? – спрашивает Зигфрид Фишер.

Его лицо пылает верой. Оно словно обводит кружком все часы, что Вернер провел в сиротском доме, мечтая о чем-то большем.

– Да, – говорит Вернер; глаза всех детей обращены на него. – Да, обязательно.

¹⁷ Один народ, одно государство, один вождь (нем.).

Оссипер

18

Мари-Лора просыпается от боя часов на церкви: два, три, четыре, пять. Слабый запах плесени. Старые пуховые подушки, слежавшиеся от времени. Шелковые обои за продавленной кроватью, на которой она сидит. Вытянув руки, Мари-Лора почти может коснуться стен с обеих сторон.

Эхо колокольного звона затихает. Она проспала почти весь день. Что это за приглушенный рокочущий гул? Толпа? Или по-прежнему море?

Мари-Лора спускает ноги на пол. Кровавые мозоли на пятках пульсируют. Где трость? Осторожно – чтобы не удариться обо что-нибудь щиколоткой – Мари-Лора возит ступнями по половицам. За занавеской окно – высоко, не дотянуться. Напротив – комод. Ящики из него можно выдвинуть только наполовину – дальше они упрутся в кровать.

Погода здесь такая, что ее можно ощущать пальцами.

Мари-Лора нащупывает дверной проем и выходит – куда? В коридор? Здесь гул тише, почти как шепот.

– Есть кто-нибудь?

Тишина. Затем движение вниз, тяжелые башмаки мадам Манек взбираются по узким винтовым ступеням, ее затрудненное прокуренное дыхание все ближе – третий этаж, четвертый – сколько же в доме этажей? Наконец голос мадам зовет: «Мадемуазель?» Мари-Лору берут за руку и ведут назад в комнату, где она проснулась, усаживают на край кровати.

– Тебе надо в уборную? Наверняка надо, а потом в ванну. Ты очень хорошо спала, твой папа сейчас в городе, хочет отправить телеграмму, хотя я его предупредила, что легче вытаскивать перья из патоки. Есть хочешь?

Мадам Манек взбивает подушки, встряхивает одеяло. Мари-Лора уговаривает себя сосредоточиться на чем-нибудь маленьком и конкретном. На макете в Париже. На одной-единственной ракушке в лаборатории доктора Жеффара.

– А что, весь этот дом принадлежит моему двоюродному дедушке Этьену?

– Каждая комната.

– И как же он за него платит?

Мадам Манек смеется:

– Сразу быка за рога! Твой двоюродный дедушка унаследовал этот дом от отца, твоего прадедушки. Он был очень успешный и богатый человек.

– Вы его знали?

– Я работаю здесь с тех пор, как мсье Этьен был маленьким мальчиком.

– И мой дедушка тоже? Вы и его знали?

– Да.

– А я сегодня познакомлюсь с дядей Этьеном?

Мадам Манек отвечает не сразу:

– Возможно, нет.

– Но он здесь?

– Да, детка. Он всегда здесь.

– Всегда?

Большие руки мадам Манек заключают ее в объятия.

– Давай пока займемся ванной. Твой папа придет и все тебе объяснит.

¹⁸ Занимать (фр.).

– Папа ничего не объясняет. Он сказал только, что его дядя был на войне вместе с моим дедушкой.

– Так и было. И твой двоюродный дедушка вернулся с войны... – мадам Манек ищет слова, – не совсем таким, каким на нее ушел.

– Вы хотите сказать, стал видеть то, чего нет.

– Испуганным. Как мышь в мышеловке. Он видел, как мертвые проходят сквозь стены. Ужасы на перекрестках. Теперь он не выходит из дому.

– Никогда?

– Уже много лет. Но Этьен – чудо. Он знает все на свете.

Мари-Лора слышит скрип деревянных стропил, крики чаек и тихий рокот за окном.

– Мы очень высоко, мадам?

– На шестом этаже. Удобная кровать, правда? Я надеялась, что вы с папой хорошо отдохнете.

– Окно открывается?

– Да, милая. Хотя, наверное, пока лучше оставить ставни закрытыми...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.